

## КРУГИ ОДИНОЧЕСТВА

Утро было таким же леденящим, как и любое другое. Горы непреклонно окружали наше скромное озеро, словно стремясь заточить нас и держать наше неугасающее убожество как можно дальше от остального мира.

Я вышел из дома в то же время, что и почти каждый день. Глубокая печаль окутывала мою душу, и, пожалуй, единственным желанием, которое я действительно испытывал, было погрузиться в озеро и позволить воде поглотить меня.

Это чувство грусти укоренилось во мне и не покидало уже почти год. Это было, несомненно, крайне печальное время. И я позволял унынию охватить мою душу, даже не желая беспокоиться о том, когда закончится эта скорбь. Но с другой стороны, можно ли знать, как долго будет длиться счастье? Или наоборот, как долго задержится грусть? В конце концов, не является ли полным абсурдом сводить к числам все абстрактные чувства, которые невозможно даже описать? Поэтому я счел разумным позволить им идти своим чередом и овладеть моей жизнью. Кроме того, признаюсь, такое поведение мне даже казалось благородным.

Все-таки, как бы эмоционально я ни был втянут в пучину грусти, как бы ни плыл по течению, я всегда оставался крепко привязан к моей религии, или, точнее, к моему Богу: моей совести. Я полностью осознавал, что без нее я был бы потерян, что без нее я не смог бы вести существование, которое считал достойным. Я готов был отказаться от всего, что встречалось мне на пути, живого или неживого, даже самого себя, лишь бы сохранить свою совесть. Только так я мог почувствовать себя живым и стоящим человеком.

Я пошел по дороге, которую каждое утро проходил, чтобы добраться до работы. Она была тогда покрыта тончайшим слоем льда. Я шел, не думая ни о чем конкретном, не обращая внимания на встречных прохожих. Время от времени мой взгляд со смятением обращался к озеру, которое простиралось поблизости. Я не

мог не думать, что Марчелло должен был быть где-то там, под этими ледяными водами.

Хорошее настроение, несмотря на то, что прошел уже год с его ухода, не возвращалось. Я просто не мог представить себе дальнейшую жизнь без моего близкого друга. Откровенно говоря, в тот момент я даже не хотел об этом думать.

Мне вдруг вспомнилось, что сказала моя девушка незадолго до выхода из дома. В последние месяцы, приходится признать, наши отношения состояли только из постоянных размолвок и недопониманий. В то утро мы встали даже раньше обычного, потому что она хотела продолжить разговор, начатый накануне. Она укоряла меня в том, что я слишком холоден. Также она упрекала меня в том, что мой разум всегда торжествует над моим сердцем. Я, в свою очередь, лишь повторял, что это не моя вина — такова моя натура, и просил, чтобы она попыталась перестать быть такой ограниченной.

Несколько мгновений я продолжал думать о ней, пока чувства беспокойства и раздражения не заставили отвлечься от этой мысли. И я, пообещав себе, что по крайней мере на несколько часов попробую выбросить из головы все разговоры с Джованной за последнее время, прошептал себе: «Сегодня лютый холод!» — и ускорил шаг.

Когда я пришел в издательство, директор был уже в своем кабинете и разговаривал по телефону. Не имея удовольствия поворчать на меня — я бы все равно не услышал из-за стеклянной перегородки, — он небрежно махнул мне рукой. Путь к моему рабочему месту проходил через зал переговоров, где несколько сотрудников столпились вокруг Милены, одной из наших секретарш — относительно молодой девушки, которая, отучившись на международных отношениях в университете, не знала куда податься и, можно сказать, случайно попала к нам на работу.

Я сразу понял, что все поздравляли ее, так как именно в тот день был старт продаж её первой книги. Не желая участвовать в этой церемонии, которую я считал тупой

и поверхностной, я молча пересекал комнату, не обращая на них внимания, когда со мной поздоровался один из сотрудников, тоже мой приятель.

- Адриан, доброе утро!

И я не мог не ответить:

- Доброе утро.

Он радостно продолжил:

- Подойди сюда на минутку. Милена дебютирует со своим первым романом, разве это не удивительно?

Я подошел к нему и кивнул головой. Затем, охваченный апатией, тоже выразил секретарше свое почтение. Я мечтал удалиться в свой кабинет и приступить к работе. Однако не было возможности сбежать из этой комнаты, и я оставался вынужденным свидетелем разговоров, от которых, по моему мнению, вполне можно было воздержаться.

А они продолжали петь дифирамбы. Все вокруг упрямо повторяли, насколько горды тем, что одна из наших коллег опубликовала книгу. И каким бы невнимательным я ни был к разговору, я не мог не подумать: «А нормально ли гордиться изданием книги?» Я слегка покачал головой и продолжил: «Нормально, ага, нормально... Есть ли вообще что-нибудь нормальное в этом мире?»

Я чувствовал усталость, огромную усталость. И любой разговор был для меня занудным. Не столько потому, что разговоры навевали на меня скуку, сколько потому, что я считал их пустыми, на грани смехотворности. В последнее время, после потери моего лучшего друга, любой диалог казался мне излишним, воспринимался ужасным расточительством времени, рассчитанным на то, чтобы люди обманывали сами себя.

Опираясь на переговорный стол, я оставался там еще несколько мгновений. Тем временем Милена рассказывала нам про свою рукопись. Она сообщила, что это

постапокалиптическая научно-фантастическая романтическая драма и что она считает ее одной из самых новаторских, поскольку, по ее словам, ей удалось включить в повествование путешествие во времени, драму и сентиментальную историю. Затем она просветила нас в том, насколько глубоким было послание, которое она намеревалась передать в своей работе (в отличие от большинства обычно публикуемых коммерческих книг, конечно же).

Мой коллега, который незадолго до этого обратился ко мне, то и дело поглядывал на меня, как бы проверяя, не покину ли я комнату раньше чем нужно. Милена продолжала говорить о каких-то мелочах, но я пропускал их мимо ушей и через несколько долгих минут мне удалось ускользнуть в свой кабинет.

Не теряя больше времени, я стал наводить порядок на своем письменном столе. На нем царил привычный беспорядок, было полно всего: книг, папок, документов, было руководство с заголовком «Напиши свою первую книгу — писательское мастерство для начинающих», и даже несколько иллюстративных брошюр, объясняющих разницу между ныне используемыми системами для определения единиц измерения длины текста, под названием «Страницы, знаки, слова, стандартная длина текстов: полезная информация для авторов».

Я уже несколько лет проработал в издательстве и за это время чем только не занимался. Например, чтением груды рукописей в печатном формате — директор предпочитал по старинке продолжать растрачивать бумагу вместо того, чтобы эффективно использовать доступные технологии, — и отбором их для публикации.

Я бросил беглый взгляд в сторону окна, где падали редкие жалкие снежинки. Этот вид, без сомнения, вызывал ощущение озноба. Затем я взялся просматривать вторую часть рукописи, чтение которой начал накануне днем.

Как я уже обнаружил, это была своего рода автобиография. Автор, по сути, использовал придуманную им историю, чтобы встроить в нее различные элементы, которые на самом деле являлись реальными отрывками из его прошлого. Главным героем был мужчина старше сорока, разведенный, десятью годами ранее

потерявший одного из детей. Первая часть рукописи была посвящена описанию неожиданной смерти сына и последовавшего за этим отчаяния главного героя. Вторая же отклонялась в сторону повествования о продолжении его жизни, разводе, экономических и духовных проблемах, с которыми ему пришлось столкнуться, и, конечно, его сосуществовании с памятью о потерянном потомке. Было чрезмерно очевидно, что эта рукопись написана не столько для того, чтобы почтить или воскресить в памяти прошлое, сколько для того, чтобы пролить свет на так называемую “силу” — физическую и духовную — главного героя. С моей точки зрения, автор даже не мог разделить одно от другого. Писатель оправдывал себя и самодовольствовался успехом, которого достиг за свою жизнь. Абзац, который я просматривал, начинался так:

«В ту ночь Лоренцо не сомкнул глаз. Он с волнением ожидал наступления рассвета, как приговоренный к смерти ждет своей казни. Единственное, что он мог слышать, — это учащенное биение собственного сердца, не дающее ему передышки, напротив, оно пульсировало со все возрастающей пылкостью. В отеле, лежа на кровати, он вертелся с бока на бок. Любой, кто не знал, что это было ни что иное, как момент волнения, что он в пылу эмоций, пришел бы к выводу, что он находится в плену бреда. Рассвет не спешил приходить, желая заставить себя ждать, словно претендуя на то, чтобы пригласить нас задуматься об уникальности моментов, которые переживут в тот день Лоренцо, его команда (которую он тренировал уже пять лет) и их зрители.

Когда, наконец, выглянул первый луч из-за горизонта, тренер вскочил с кровати и высунулся в окно. Там, вдалеке, виднелся стадион, на котором в тот же день после обеда должен был состояться финал национального чемпионата. Лоренцо долго созерцал его. Все внушало ощущение уникальности — стадион не был простым стадионом, здания вокруг него не были обычными зданиями, и даже сама заря не была просто зарей. Это была заря национального чемпионата. Она разгоралась ярко, вдыхался чистый, свежий, заряженный воздух. (...)

Когда Лоренцо вышел на поле в сопровождении своей легендарной команды, он ощутил, что наконец наступил момент истины, момент суда. Он был во власти тревоги и радости, и как бы ему ни хотелось бежать, внутренний голос приказывал остаться, говорил, что судьба его решится там в тот же день, в окружении трибун этого самого стадиона. (...)

Судьба была благосклонна к Лоренцо и увенчала его мечты: победа была их, и невыразима была радость, которую испытала вся команда. Вы спросите: зачем тренироваться и жертвовать собой на протяжении множества месяцев, лет? Бросать все силы на подготовку команды на пути к совершенству? Возможно, ради надежды однажды услышать на таком стадионе звучание гимна. Только для вас одних и никого более. Когда весь народ с экранами телевизоров на коленях наблюдает за вами, превозносит вас, готовый даже признать своим богом. (...)

В те мгновения Лоренцо чувствовал себя полностью удовлетворенным, состоявшимся и чрезвычайно гордился собой и своими “коллегами”, которые только что вписали свои имена в историю футбола. Но, прежде всего, тренер ощущал себя процветающим и полным энергии, ведь, несмотря на то, что судьба подвергла его суровым испытаниям — достаточно вспомнить сначала потерю сына, затем развод, смену команд, последующую финансовую неопределенность и другие беды — он наконец сумел дать волю своему «я» и доказал, чего он действительно стоит, какой силой воли и характером может гордиться.

Есть распространенное высказывание: каким бы выносливым ни был человек в оптимальных условиях, это не имеет никакого значения, — важна его стойкость перед лицом несчастья, способность подниматься после каждого падения. Лоренцо был отличной иллюстрацией этого. Несмотря на потерю самого любимого сына, ему удалось “побороть” боль, мешавшую ему строить свою дальнейшую жизнь, и показать себя сильным человеком, способным вынести и принять даже самые трагические аспекты жизни.

И в тот момент Лоренцо радовался собственным успехам. Возможно, не столько потому, что хотел доказать себе, что он стойкий человек, сколько потому, что горел

желанием показать это ушедшему сыну, чтобы тот мог гордиться своим отцом. Это был своего рода договор, который Лоренцо заключил с сыном, чтобы доказать, что он бесстрашный отец, чтобы сын мог почувствовать себя полным восхищения.

Фактически, каждый раз, когда его команда добивалась хорошего результата, Лоренцо даже не приходила в голову мысль не посвятить победу сыну. Побеждая, он, конечно, доставлял радость себе, но прежде всего, сыну — самому дорогому, что у него было на протяжении всей его жизни. Он также чувствовал, что посвящение своих триумфов или, более обобщенно, своей жизни почившему сыну было способом поделиться этим всем с ним и поддерживать близость с ним. Ему казалось, что, несмотря на очевидное физическое отсутствие, сын сопровождал его на жизненном пути и в то же время гордился его “творениями”. (...)

В тот день во время интервью Лоренцо не мог не произнести следующие слова: “Так много людей поддерживают мнение, что жизни после смерти не существует. Я говорю вам, уверяю вас, гарантирую, что дорогих нам людей, которых сегодня уже нет с нами, мы не потеряли по-настоящему, и горе, которое мы испытываем из-за их несправедливого ухода, поддерживает нашу связь с ними, оно утешает и успокаивает нас. Я ежедневно разговариваю с одним из моих детей, который, к несчастью, покинул меня. Он со мной. Ему позволено нечто особенное: возможность всегда быть рядом со мной. Собственно, именно поэтому я здесь сегодня хочу посвятить эту незабываемую победу Херардо, моему обожаемому сыну!” И тогда тренер, вспоминая счастливые моменты, проведенные с сыном, чувствуя себя так вечно связанным с ним, не смог удержать слез от нахлынувшего умиления».

Утром, в спешке, я дочитывал вторую часть этой автобиографии — суть романа, во всяком случае, уже давно была интуитивно понятна. Страница за страницей я осознавал, насколько я был рассеян и не мог уделять внимание своей работе; я не мог оценить рукопись, которая по злему умыслу судьбы попала мне в руки. Надо признать, это было произведение, достойно написанное по стилю и языку: это была смесь автобиографического повествования и приглашения к размышлению.

Автору также удалось создать захватывающую историю, способную увлечь читателя согласно привычным нам стандартам. Однако главная идея романа, которую он пытался донести, показалась мне убогой и к тому же скучной. Мое мнение, в любом случае, не имело большого значения. Поэтому моей обязанностью было отправить эту работу в редакцию, чтобы они могли приступить к подготовке договора с писателем на публикацию.

Я отложил рукопись на край стола и оставил пометку с фразой, предложенной для обложки. Я выбрал следующий фрагмент рукописи: «Я думал о тебе с любовью сегодня, но это не новость; я думал о тебе вчера и каждый прошедший день. Я думаю о тебе в тишине, часто произношу твое имя; все, что у меня есть, — это воспоминания и твое фото в рамке. Память о тебе — это моя память, с которой я никогда не расстанусь». Бедного среднестатистического читателя подобное высказывание, одновременно душещипательное и вроде как тусклое, тронет. А если не тронет, то наверняка он подделает умиление.

Я начал чтение следующей присланной нам рукописи, надеясь, что она будет о чем-то более существенном, чем предыдущая, а не окажется просто тратой времени. В этот период года мы обычно принимали заявки на публикацию новых рукописей, поэтому их было прилично. Очевидно, все чувствовали себя вдохновленными и посвятили себя писательству, в связи с чем у нас было полно работы. Собравшись читать, я услышал телефонный звонок и, так как никого поблизости не было, поднял трубку.

- Адриан, нам нужно поговорить, это срочно. Я вся извелась, я не могу найти покоя.
- Да, понимаю, — ответил я, слегка недовольный звонком, и попытался ее успокоить, — постарайся сохранять спокойствие, ты должна перестать заикливаться. В мое отсутствие ты постоянно себя терзаешь, так нельзя. Ты причиняешь вред себе и, сверх того, мне. Если мы продолжим в том же духе, мы оба сойдем с ума, ясно?



Джованна ответила:

- Как я могу исправить тот факт, что я человек, который заикливается? Это просто показывает, что я беспокоюсь о других людях больше, чем это принято, потому что мне не все равно. Я правда не понимаю, почему до тебя это не доходит. Это ведь настолько естественно и искренне. Я беспокоюсь, и когда у нас не все гладко, мне хочется сделать все необходимое, чтобы мы могли быть счастливы.
- Да понимаю я, как мне не знать. Таков твой характер и нет никакой возможности заставить тебя отказаться от гнетущих мыслей. Мы разговаривали об этом час сегодня утром перед завтраком, и я измотан, поговорим в другой раз, ладно? Кроме того, я уверяю тебя, что если ты попытаешься успокоиться и отвлечься, сосредоточившись на своей работе, тем самым давая нам обоим немного пространства, это пойдет нам двоим на пользу.
- Следовать твоим советам... Я несколько раз пыталась, несмотря на мои сомнения, но вот результаты: у нас постоянно все плохо, мы все дальше и дальше друг от друга, между нами уже непреодолимая пропасть. Неужели ты действительно собираешься упорствовать в своем ледяном равнодушии вместо того, чтобы остановиться и найти решение как можно скорее? — проговорила она взволнованным тоном, типичным для истеричного человека, который уже долгое время одержим одной мыслью.
- Я умоляю тебя остановиться. Твои способы решения проблем так же инертны, как и мои. Ты утверждаешь, что все можно исправить разговорами до поздней ночи, пока сон не сморит нас и мы не уснем, и что наутро все будет уже выяснено и предано забвению, — я ответил с изнеможением, которое пронизывало меня, все тело и душу. Оно было вызвано осознанием, что я повторял эти слова ей столько раз и что они никогда не действовали на

нее. Она была упрямой девушкой. В этом отношении, признаю, мы были довольно похожи.

Она продолжила попрекать меня:

- Проблема в том, что ты убегаешь, вечно откладываешь любой разговор, любую проблему, и именно это, во всех смыслах, мучает меня больше всего — постоянное и бесполезное ожидание.

Правда заключалась не в том, что я обходил проблемы. Мне просто хотелось держаться подальше от всех, страдать в одиночестве, потому что я был убежден, что никто и ничто не сможет облегчить мое опустошение. Джованна, однако, была неспособна с этим мириться и упрямо настаивала на том, что проблемы нужно решать вместе. Она хотела навязать мне свою волю.

Я ответил ей холодно:

- Мы поговорим об этом дома, сделай мне одолжение и займись сейчас своей работой. Увидимся позже.

Она спросила меня в конце, во сколько мы могли бы продолжить обсуждение лично. Я ответил уклончиво, так как не считал особенно важным устанавливать конкретное время для наших дискуссий. В любом случае, хуже, чем наша ситуация, уже быть не могло. Ее речи только и делали, что вселяли в меня чувство угнетенности, из которого мне хотелось вырваться, я жаждал лишь одиночества.

Я вернулся к делам и проработал до обеда. Затем, выходя из кабинета, я столкнулся с нашим директором, который остановил меня и завел разговор о рабочих вопросах, пожаловался на одну из наших сотрудниц, и наконец, поскольку у него не было привычки возвращаться домой во время обеденного перерыва, предложил выпить вместе кофе. Он был так настойчив, что я не смог отказаться. Я использовал эту возможность, чтобы высказать ему свое недоумение по поводу рукописи о тренере, потерявшем любимого сына.

- Где предел, после которого не следует идти на компромиссы? — спросил я рассеянно, как будто разговаривал сам с собой, погруженный в свои мысли.
- О чем ты говоришь? — ответил директор.
- О книгах, которые мы отбираем для публикации.
- И все равно мне непонятно, — настаивал он.
- Ты прав, я плохо изъясняюсь. В последнее время меня все обвиняют в двусмысленности и неумении выразить то, что я думаю. — Я дал себе паузу, огляделся, пытаюсь собраться с мыслями. После этого продолжил: — Сегодня утром я дочитал книгу, одну из рукописей, поступивших к нам для публикации. Она называется «Стойкость».
- Как называется? — выпалил он заинтригованно и нахмурил лоб.
- «Стойкость». Сила человека, значит.

После этого, словно вернувшись с другой планеты и окончательно придя в себя, он заверил меня, что сразу понял, о какой рукописи идет речь, и произнес, слегка улыбаясь:

- Ах, точно, ты про тот роман, который сам автор мне лично вручил на днях.

Затем заключил более серьезным тоном, чем обычно:

- Это важный человек: автор — высокопоставленный тренер. Я считаю, нам очень повезло, что такая работа попала в наши руки.

Он помолчал несколько мгновений, после чего спросил меня:

- Подозреваю, ты уже прочитал?
- Да, сегодня утром я закончил первое чтение.
- Извини, что я не предупредил тебя раньше, — сказал он с притворным сожалением, — с самого начала было известно, что мы примем эту работу.

Поэтому можно было сразу переходить к исправлению орфографических и стилистических ошибок.

- Не волнуйся. В любом случае, речь не об этом.
- И о чем тогда? Что-то не так? — спросил он, а потом иронично добавил: — У тебя есть какие-то претензии?
- Ничего подобного. Я просто размышлял о том, в чем смысл публиковать произведение скудного содержания, на грани нелепости. В «Стойкости» автор сосредоточен на том, чтобы привлечь внимание к своей персоне. Вызывая у читателей сострадание историей о гибели сына, он пользуется удобным случаем похвастаться своими достижениями. Всему должен быть предел. Тебе не кажется?
- Не думаю, что в моих силах найти ответ. Мы нацелены главным образом на то, что хочет получить читатель, и исходя из этого каждый год отправляем в печать определенное количество книг. Я не считаю необходимым бороться с человеческой глупостью: это не наша задача. Если читатель хочет кулинарную книгу, стоит ли нам возражать? Если жаждет иллюстрированный учебник по геометрии вместо руководства по голой теории и формулам, будет ли ошибкой удовлетворить это желание? Разве если заставлять людей читать этические сочинения, человечество будет процветать и созреть? — Он хихикнул и бросил на меня ироничный взгляд, как бы приглашая оспорить мою наивность.
- Правильно ли тогда позволять человечеству все больше и больше умственно “угасать”? — спросил я в ответ.

И правда была в том, что я почувствовал себя странно, произнося эту фразу, так как я сам отказался от веры в человечество и оно мне было совершенно безразлично. Как же так получилось, что, несмотря на то, что я больше не хотел ничего слышать о человечестве, я все равно не мог перестать ужасаться? Я ощущал, что попал в ситуацию, которая меня не касается. Но все-таки я прекрасно осознавал, что в

идеальном сценарии, если бы у меня была власть решать, я бы публиковал только достойные книги, которые побуждали бы к размышлению, и в то же время я чувствовал, что если человечество рвалось тупеть день за днем, это было не мое дело, мне это было даже в высшей степени безразлично. И что, короче говоря, если бы я публиковал только рукописи приличного содержания, это было бы скорее для того, чтобы доставить себе удовольствие, а не столько ради прогресса общества. Как бы то ни было, директор ответил мне:

- Если планета Земля не хочет возвыситься, самое глупое, что мы могли бы придумать, — это заставить ее притвориться тем, кем она не является, или направить ее к судьбе, которая ей не предназначена.

После этого краткого разговора я вскоре понял, что, как и следовало ожидать, ввиду того, что я его давно знал, мой директор не хотел усложнять себе жизнь и задавать неудобные вопросы. Если публика просит определенный продукт, он лично позаботится о доставке выбранного товара, точно так, как мы заказываем фастфуд в забегаловке. Он не видел в этом ничего плохого, потому что сумел отграничить свое участие в литературе финансовым вопросом, который, конечно, не предполагал вовлеченности души, и чувствовал, что работа, вероятно, не имела ничего общего с его личной жизнью и внутренним миром. Работа казалось ему чем-то обособленным, чем-то, что нужно было выполнять, чтобы поддерживать все на плаву, и не более того.

Через некоторое время, помню, я задался вопросом, существовала ли между нами титаническая разница или все-таки мы были похожи. Возможно, он рассматривал свою работу как коммерческую деятельность, а я бы на его месте сделал ее частью своей жизни и выполнял бы осознанно, ради искусства, а не заработка. С этой точки зрения мы были определенно разными людьми. И все же нас обоих пронизывало одно и то же чувство безразличия ко всему и ко всем. В то время я был абсолютно уверен, что никогда в жизни не смог бы стать таким человеком, как мой директор, но был ли я прав?

Закончив обед, я вернулся в свой кабинет и уже собирался продолжить мой рабочий день, как заметил, что Джованна пыталась настойчиво связаться со мной и много раз звонила. Признаюсь, я не был сильно удивлен: она уже не первый раз позволяла этой, как мы обычно называли, “зацикленности” и желанию прийти к неоспоримому решению взять верх, чтобы сразу же после выдохнуть с облегчением и начать думать о других вещах. Как обычно, перед таким напором я не мог не испытывать угнетенность и удушье, которые обременяли меня. Тем не менее, я постарался сохранить хладнокровие и решил позвонить ей.

- Что случилось? За полчаса я получил сто звонков от тебя. — Сказал я с легким укором. Мой тон был проникнут фальшью, потому что я отлично знал причину ее беспокойства и чувствовал, что абсолютно бессилен помочь ей.
- Мне нужно было поговорить с тобой. Дело в том, что я больше не выношу ждать, ведь мы постоянно бросаем разговоры на середине. Мы начинаем их, а через полчаса всегда что-то нас прерывает: друг, родственник, работа, какие-то обязательства или что-то еще. Понимаешь, что продолжать так — это равносильно пытке? — произнесла она голосом, полным тревоги. Затем, пытаясь совладать с собой, она вынудила меня пообещать, что мы вернемся к нашему разговору этим вечером после того, как она навестит сестру.

Несколько часов спустя я покинул издательство. Я бесцельно бродил по центру, не желая возвращаться домой. Я ощущал необходимость еще больше отстраниться от всего и погрузиться в одиночество, прогуливаясь в окружении этих бетонных стен. В свою очередь, вдали горы посылали обычное ощущение неподвижности: нам никогда не покинуть этого места, нам никогда не сбежать от своего «я», от своей совести, мы застряли здесь, не имея никакой возможности порвать эту горную цепь, которая отграничивала нас. Довольно суровая и трудная для принятия перспектива. С печалью я полностью осознавал: нам никогда не измениться. Вдруг я услышал, как кто-то воскликнул:

- Адриан!

Это был мой брат. В конце концов, кто еще это мог быть? В городе я общался с крайне ограниченным кругом людей. Он был с Эндриной, своей невестой.

- Мы уже несколько недель не видели тебя. Ты явно нас избегаешь! — начала говорить она.
- Я вас избегаю? Это вы избегаете меня! — ответил я, иронизируя и делая вид, будто рад внезапной встрече с близкими людьми.

Мы поприветствовали друг друга. Они сразу же пригласили меня к себе поужинать, и я, из вежливости, не счел нужным отказываться. Кроме того, в тот вечер Джованна должна была навестить свою сестру, и я был свободен.

Эндрина и Бруно были вместе уже несколько лет. Я относительно хорошо знал невесту моего брата, она всегда с огромной преданностью занималась биологией и отличалась скромностью и сдержанностью. Она редко занималась самовосхвалением.

Огни Рождества сверкали на стенах домов, но все-таки я чувствовал себя во власти темноты этих улиц, безразличным ко всему, и единственное, что давало мне ощущение, что я еще жив, — это память о Марчелло и времени, проведенном с ним. Именно в такие мгновения всплывал в моей памяти момент, когда я сидел рядом с моим другом на уроке литературы. Одной из одноклассниц было поручено прочитать отрывок из современного произведения, рассказывающего об увлечении героя девушкой из его села, в котором говорилось примерно так (хотя я не помню точных слов): «Хотя он полностью понимал, что самое важное в избраннице — быть умной, сильной и милой, он также осознавал, насколько в его краях поклоняются внешней привлекательности девушки, ее улыбке, взгляду. И поскольку такая практика была так распространена среди всех, он не чувствовал никакого стыда, опускаясь до уровня своих соотечественников. Напротив, он испытывал гордость и, прежде всего, облегчение: оправдание тем, что люди вокруг него были пустыми, было его спасением, его счастьем, его первостепенной опорой, позволяющей ему не проявлять себя чрезмерно мудрым ни в чем».

В моей памяти сохранилось лицо Марчелло, окрашенное иронией, с легкой саркастической улыбкой, и его взгляд, который время от времени он бросал на меня, пока мы слушали нашу одноклассницу. "Тревогу" вызывало то, что она продолжала читать этот текст со всей серьезностью, размеренным тоном, тщательно произнося слова одно за другим, как если бы это был глубокомысленный и имеющий ценность текст. По своей наивности она не осознавала, что присваивала тому ничтожному произведению несуществующую заслугу, которой оно, очевидно, не имело. Марчелло захлебывался от смеха.

Позже в моей памяти всплывали и другие эпизоды из тех далеких времен, когда большую часть дней я проводил со своим другом. С того времени прошло больше десяти лет. Марчелло всегда оставался моим другом, он даже простил Джованну за то, что она бросила его и влюбилась в меня. И мне он тоже все прощал. «Почему ты покинул нас так рано?» — размышлял я.

Тем временем Эндрина продолжала говорить о чем-то несущественном, я время от времени кивал, хотя был буквально погружен в свои воспоминания и не мог обращать внимания ни на единое слово, которое мне говорили. Вскоре мы поспешили к их дому из-за ледяного ветра, который становился с каждой минутой все более пронизывающим.

Моему брату тогда было тридцать лет. Он был на два года старше меня. Квартира, в которой он жил со своей невестой, отличалась простым и минималистичным декором, мебелью темного цвета и крайне тусклым освещением. Мы вошли и повесили наши пальто и другую одежду, защищавшие нас от холода, после чего расселись на диванах в гостиной.

Эндрина вскоре удалилась принять душ. Я остался наедине с братом. Бруно рассеянно взял в руки газету, я же ничего не хотел кроме как немного отдохнуть. Я огляделся и увидел на полке недалеко от себя фотографию в рамке, которую раньше там не видел. На ней были Бруно, Марчелло и я.

- Когда ты поставил в рамку эту фотографию? — спросил я его.



- Недавно. Я нашел ее несколько месяцев назад в одном из старых ящиков, во время переезда, когда мы собирались поселиться здесь. Мне показалось правильным воспользоваться возможностью, чтобы отдать должное и вернуть ее к жизни, поместив в рамку и поставив на эту полку. В конце концов, эта квартира принадлежит родственникам Марчелло. Они действительно были очень любезны, согласившись отдать ее нам. Тут, в центре, тихо и нам все нравится.
- Понимаю, — ответил я с ощущением пустоты, пронизывающей меня.
- А вот эту пустую рамку рядом мы купили несколько недель назад. В день нашей свадьбы хотим вставить в нее наше фото.

Несколько минут мы сидели молча. Я думал о своем, в то время как Бруно, возможно, пытался найти тему для беседы или, может быть, еще проще, он задавался вопросом, о чем я размышляю. Внезапно он заговорил, почти застав меня врасплох.

- Ты так и не оправился от смерти нашего друга.

Его слова были прямолинейны, и я несколько мгновений хранил молчание. Затем, пожалуй, поскольку я так и не нашел что возразить, Бруно добавил:

- Есть ли смысл в стольких страданиях? Кому это нужно?
- Полагаю, мне, — наконец ответил я.
- Тебе? Может, ты еще и гордишься этим? Тем, что впал в уныние, не в состоянии преодолеть скорбь, не можешь продолжать жить и заниматься чем-то достойным тебя?

Я только покачал головой, не зная, как продолжить разговор. Потом я произнес:

- Что мне делать с пронизывающей меня болью, должен ли я пытаться сопротивляться? Если задуматься, эта скорбь — не что иное, как зеркало прошлого, того времени, когда я мог похвастаться своим счастьем. И мне

кажется неправильным уклоняться от того, что естественно или, другими словами, от моей совести.

- На мой взгляд, тебе следует попытаться перестать вести этот страдальческий образ жизни и позволить себе снова дышать, снова жить. Ты должен научиться сосуществовать с прошлым, не забывая его, конечно, и найти способ идти своим путем. Нужно больше доверять будущему, уверенности в том, что оно принесет тебе новые радости; было бы несправедливо лишать себя их. Кроме того, у тебя еще многое осталось: твоя семья, твои друзья, то, чем ты занимаешься, что увлекает тебя, — все, что ты привык переживать в своей повседневной жизни. Я хочу подчеркнуть, что твоя жизнь была всегда: до знакомства с Марчелло, в период, когда ты был его другом, и сейчас она все еще есть, — и нет никаких причин отказываться от нее.

Бруно вечно придавал большое значение своей повседневной жизни, которая способствовала построению его счастья. Какой-то процент удовлетворения он обнаруживал в одном занятии, какой-то — в семье, в невесте... И даже при потере одного из этих “занятий” его счастье не рисковало исчезнуть, напротив, не составило бы труда снова найти радость в том, что осталось, на оставшихся параллельных путях, и постараться вновь возродить вкус к жизни, как прежде.

Однако придавать значение повседневной жизни или даже пытаться изменить свой распорядок дня с целью сделать его более увлекательным казалось мне мелочным. Фактически, после смерти Марчелло я ничего не изменил, — продолжал работать и выполнять свои обычные обязанности с безразличием, вот только настроение у меня радикально поменялось. С другой стороны, разве не было бы абсурдом пытаться обманывать себя, что рутинные дела могут быть связаны с умершим человеком? Разве привязанность не должна быть превыше всего будничного? Однако Бруно думал иначе, чем я, поскольку его уловка сосредоточения или даже изменения привычек была для него морально правильной. Он считал бессмысленным мешать себе продолжать обыденную

жизнь, перестать обращать внимание на нее, поскольку в его восприятии все было обособленно, словно совокупность нескольких сфер, не пересекающихся друг с другом.

- Конечно, хотя верно и то, что если бы после несчастья я сосредоточился на том, что у меня осталось, или на позитивных вещах, моя дружба не стоила бы многого. Тебе не кажется? Какова будет ценность боли, причиненной прошлым, реши я вести себя таким образом? Как могло бы существовать понятие печали, переплетающееся с понятием радости? Ты настолько уверен, что будущее не может ни обесценить, ни возвысить прошлое? — ответил я.
- Разве человек не имеет права быть счастливым в течение нескольких лет, а затем, когда произойдет несчастье, снова взять в руки бразды правления своей жизнью и начать чувствовать себя счастливым по другим причинам? И является ли неправильным пытаться смягчить эти потрясения, которые преподносит нам жизнь? — он сделал паузу. — С практической точки зрения, если ты в своей жизни был близок с Марчелло, этого у тебя никогда не отнять, это никогда не испарится, независимо от того, что произойдет с тобой позже, в будущем, после его смерти.

Мы немного помолчали. Потом мой брат вернулся к разговору и слегка язвительно произнес:

- Жизнь не стоит на месте, это время, которое идет минута за минутой на часах, и ты не можешь не участвовать в этом процессе. Тебе нужно приспособливаться к настоящему и учиться соединять разные “эпохи” твоей жизни, иначе ты впадешь в депрессию.
- Очевидно, что жизнь продолжается и часы невозможно остановить. Я спрашиваю: какое отношение это все имеет ко мне? Тот факт, что стрелки часов переместились вперед в этом году, не равносителен тому, что моя жизнь продвинулась дальше. — Затем я обратил его внимание на кое-что еще: —

Поступая так, ты уклоняешься от настоящего и вместе со временем на часах не делаешь ничего, кроме как закрепляешься в будущем настолько, насколько это возможно, в несуществующем, вымышленном времени, в грядущих радостях и несчастьях, которые предназначены тебе судьбой.

Напоследок я добавил:

- Притом, когда мы обсуждаем эту тему, у меня складывается впечатление, что ты склонен придавать слишком большое значение эмоциональному состоянию человека. Но тебе следует иметь в виду, что я не тот, кого это беспокоит, — затем немного подумав, я заключил: — Меня интересует только то, что лежит в основании пирамиды: кто мы, кем мы хотим быть и какие выборы мы совершаем. И мне не важно, радость они нам принесут или печаль, меня это не волнует, потому что это просто отголоски нашей совести.

Бруно больше ничего не добавил, встал с дивана и направился к столу. Было неоспоримо, что мы не сможем достичь взаимопонимания, и время от времени он ограничивался тем, что поглядывал на меня, тем самым выражая неловкость, которая подчеркивала его заурядность.

Мне было ясно, что для Бруно жизнь стоит того, чтобы ее жить, в ней всегда есть что-то позитивное, и необходимо приложить усилия, чтобы придать ей смысл. Он был очарован жизнью и позволил ей стать его единственной ценностью, и я с ужасом задавался вопросом: «Как он мог пожертвовать всем остальным во имя повседневного бытия и как не осознает, до какой степени его поведение выливается в мелочность?»

Более того, размышляя я, если он принял дар жизни, ему пришлось принять и радости, и страдания. Насчет последних, однако, он обманывал себя, что принимает их, и предпочитал иметь огромный контроль над своей жизнью: никогда не позволял себе увлекаться тем, что действительно чувствовал, не видел смысла горевать больше и дольше чем нужно, это было излишне; и любые

изменения, как бы он ни отрицал, он не встречал, а отвергал их и заботился только о своем “выживании”.

Я понимал, что самым ощутимым для моего брата стало физическое отсутствие Марчелло, в действительности это не было тем изменением, которое бы заставило его внутренне реально измениться. Настоящее Бруно продолжало быть таким же, как его прошлое и будущее, и о нашем друге у него остались только воспоминания, отпечатки в его памяти, которые он мог “пролистать”. Я же, в свою очередь, мог постичь эту перемену только с душевной стороны.

Прежде чем начать готовить ужин, Бруно постарался произнести несколько слов утешения:

- Полагаю, что, в каких бы тисках рассеянности ты ни чувствовал себя сейчас, рано или поздно страдания утихнут. Время лечит раны, облегчает боль, это хорошо известный факт, и на него всегда можно положиться. Ты сам поразишься чудесам, на которые оно способно.

Тогда я не мог не подумать, что, сколько бы времени ни прошло, мысль о смерти Марчелло неизменно будет вызывать одинаковую боль, которая не утихнет, и это невозможно изменить, в отличие от затухающих колебаний на графике математической функции.

Во время ужина беседа случайно зашла о сновидениях. Эндрина первой начала разговор, рассказывая о необычном сне, который ей приснился той ночью.

- Во сне, помню, я была сравнительно молодой девушкой, слепой уже несколько лет. Проблема заключалась в том, что я все больше теряла память о том, какой была реальность, и стала привыкать видеть сны без образов. Это было тревожно. Поэтому я решила обратиться к психологу, и мы вместе постарались сделать мои сны максимально приближенными к нашей визуальной реальности. Я приходила к ней в офис и показывала сделанные мной рисунки. Я даже психолога нарисовала и спросила ее: «Вот так вы выглядите? Мой рисунок похож на реальность? Мне нужно, чтобы вы

предоставили мне как можно больше подробностей о своей внешности». Психолог любезно согласилась сделать это. Короче говоря, такие сны действительно уникальны.

Бруно начал высказывать свои наблюдения. Между тем, несмотря на то, что я не обращал чрезмерного внимания на все, что было сказано, я не мог не задуматься о снах Эндрины. Я задал себе следующий вопрос: не является ли иллюзией утверждать, что “правдивые” сны могут существовать? И по какой причине, даже если бы люди могли выбирать, они бы предпочли сны с образами? Не потому ли что они все были слепыми, раз так страстно желали обладать этими снами с картинками, забывая об обманчивости внешнего вида? Разве Бруно, находившийся передо мной, не являлся типичным примером человека, который, несмотря на то, что получил дар разума, чувствовал острое желание избавиться от него и растратить? Неужели моему брату хватило бы смелости выбрать сны для слепых, не имеющие ни целей, ни опор, благодаря которым он мог бы держаться на ногах?

После этих размышлений я остановился на вопросах, непосредственно касающихся меня. Я спрашивал себя: если они отдавали предпочтение сновидениям с образами — которые для меня было естественным называть “цветные сны”, как могут они заметить и понять мое страдание, мою печаль из-за ухода Марчелло? Особенно заметить. Только потому, что иногда им казалось, что мое лицо выглядело более серьезным или печальным, чем обычно, они делали такие выводы? Разве только по моему внешнему виду они заключили, что я не желаю найти силы, чтобы продолжать быть счастливым, как раньше?

Тогда, признаюсь, я с глубоким сожалением подумал, что мой брат делал все возможное, чтобы не проявить себя таким, каким он мог бы быть на самом деле. Он заставлял себя избавиться от своих талантов, своего сияния, отшвырнуть его прочь; он стремился любой ценой подавить его, погасить его. Я не сомневался, что мало людей знало его таким, каким он мог быть, и на что он был способен. В то же самое время многие лишь ограничивались тем, что принимали, одобряли его и

даже восхищались или завидовали его незначительным успехам, которых он добился в своей прагматичной повседневной жизни.

Наконец, почти удивившись самому себе, я рассмотрел последнюю догадку: «А что если, наоборот, вина лежит полностью на мне? Что если дело исключительно в том, что именно я отказываюсь принять то, что другие люди могут найти свое счастье при обстоятельствах, которые отличаются от привычных для меня, и по другим причинам?» Но мысль о том, что Бруно мог бы быть выдающимся человеком, не давала мне покоя. Поэтому я считал свою непримиримость в определенной степени оправданной и дозволенной.

Позже именно Бруно захотел поделиться с нами своим недавним сном.

- Если честно, я не помню развития сна в целом, однако... — он слегка посмеялся себе под нос. — Я четко помню, что в определенный момент заново прожил ситуацию, которая произошла со мной в очень раннем возрасте. Адриан, возможно, это подтвердит, — он сделал паузу, а затем выразительно продолжил: — Мне, должно быть, было лет пять, тогда я еще ходил в детский сад. Я увлекался коллекционированием всевозможных карточек и фигурок, что очень типично для детей такого возраста. Помню, однажды я отобрал фигурку у одной девочки, и нетрудно догадаться, что она разозлилась и пожаловалась воспитательнице. Та подозвала нас к себе и сказала: *«Поскольку я не знаю на самом деле кому принадлежит эта фигурка, я разрежу ее пополам и дам по одной части каждому из вас»*. Как и наша воспитательница, я знал об истории царя Соломона (наш дядя про нее рассказывал), поэтому поспешно воскликнул: *«Нет, нет, это неважно, отдайте игрушку ей!»* На что наша воспитательница, которая повелась на мой “обман”, решила отдать фигурку мне. — Бруно сделал паузу и, бросив взгляд на Эндрину, заявил: — Само событие не представляет особого интереса, но показалось забавным, почти гротескным, потому что сразу после этого воспитательница отошла от нас с надменным видом, вероятно, она была довольна собой, думая: *«Какая я молодец, что смогла одурачить пятилетних*

детей». Я хочу сказать, что фигурка, конечно же, была не моя, но несмотря на это, я смог с блеском присвоить ее.

Он закончил свою историю, слегка покачивая головой и пытаясь подавить нахлынувший на него приступ смеха.

Я же просто подумал: «Для Бруно типично видеть такие сны. Тогда ему было пять лет, он был в восторге от того, что является частью общества, и постоянно старался оказаться самым хитрым, умным и талантливым (по-своему). Теперь он делает то же самое. Ни капельки не изменился».

Когда мой брат говорил, в нем всегда сквозила его характерная легкая надменность и презрение к посредственности, которая окружала и определяла его день за днем, и не только это — такое поведение отражало, что он в глубине души не особо восхищался своей невестой. Речь не о том, что он испытывал искреннее презрение и раздражение, а скорее об осознании того, что он талантливее ее; ведь он был спокойным, веселым и старался вести себя снисходительно.

Со мной он вел себя так же: обращался с тем же милым самомнением, типичным для него. Вдобавок, когда он злился, он умудрялся относиться ко мне холодно, сохраняя дистанцию, делая вид (возможно, даже не осознавая, что делает вид), будто считает себя выше, как будто старался изо всех сил не признавать, что, возможно, глубоко внутри, он испытывает кое-какую зависть ко мне, к моей чуткости, к моему способу мышления, отличному от его, или, возможно, к моей свободе — во всех аспектах. Без сомнения, эта непохожесть больше всего бросалась в глаза, когда он общался именно со мной, а не с большинством своих знакомых или нашими родственниками.

Я с горечью вспомнил многочисленные случаи, когда пытался отговорить Бруно от такого поведения. Я пытался убедить его перестать так относиться к важным аспектам жизни, отказаться от желания иметь все, что имеет большинство людей, и стремиться чувствовать себя живой и яркой личностью просто благодаря своему таланту и способности делать то, что может каждый, но с большей находчивостью



и элегантностью. «Откуда столько страха, Бруно? Как такое возможно, что ты никогда не хотел прислушаться ко мне и выйти за пределы своего маленького мира и взгляда на жизнь? Почему, несмотря на то что ты вполне способен трезво мыслить, ты ничего не хочешь менять и остаешься таким твердолобым?» — размышлял я, позволяя чувству отчаяния, возможно, даже разочарования, захлестнуть меня.

Бруно продолжил свою речь:

- Этот анекдот, связанный с царем Соломоном, — лишь незначительный фрагмент моего прошлого, который я иногда вспоминаю, так как он всегда вызывает у меня веселье. В любом случае... — он сделал паузу, возможно, не зная, как выразить свои мысли, — сны, честно сказать, меня не особенно интересуют. Большинство из них я отправляю в забвение почти сразу и не вспоминаю годами, а может, и никогда. Более того, они имеют очень мало общего с мечтами в реальной жизни, единственными, которые имеют истинную ценность, — сказал он, не производя впечатления, что произносит глубокомысленную речь. — Фактически, если вы спросите какие у меня мечты — в смысле моих текущих стремлений — полагаю, что не смогу обойтись без того, чтобы не рассказать о своих целях.

Эндрин призвала его уточнить смысл этого заявления. Он продолжил:

- Я считаю, что в жизни человека необходимо ставить перед собой цели. Прежде всего это означает выявление деятельности, которая увлекает нас по-настоящему и способна захватывать нас на протяжении продолжительного времени каждый день, а затем посвящение себя этой деятельности и нахождение метода осуществления поставленных целей, — сказал он и пояснил: — Я, например, в настоящее время считал бы себя очень пустым человеком, если бы не знал, что у меня есть четкие цели в голове и желание стремиться к ним изо дня в день. Если бы этого не было (говорю по собственному опыту), я не смог бы чувствовать удовлетворения собой и считал бы себя человеком, лишенным содержания, бесполезным для

себя и для других. Кроме того, у меня возникло бы ощущение сильной скуки,  
— закончил он.

Его невеста прокомментировала:

- Это так. Мне ли не знать, что ты так думаешь, и я не имею в виду, что твое мнение ошибочно. Тем не менее, я не уверена, правильно ли заходить слишком далеко в неспособности принять провалы поставленных целей. Нетрудно заметить, что ты тянешь за собой свои “неудачные достижения” из прошлого, и что они день за днём заставляют тебя выкладываться по максимуму и гонят к лучшим результатам, — начала она, а затем добавила: — Однако у меня складывается впечатление, что это приводит тебя в состояние чрезмерной тревоги. Ты как будто каждую минуту вынужден испытывать себя на прочность и постоянно боишься, что можешь совершить промах, удастся или нет... — она не закончила фразу.

Бруно сразу же заговорил:

- Да, несомненно, это порождает во мне некую постоянную тревогу. Прежде всего, мне тяжело принять прошлые неудачи, также меня мучает мысль о неопределенности, незнание того, что произойдет в будущем, неуверенность в том, смогу ли я достичь желаемого, неспособность держать все под контролем, — сделал он паузу, а потом продолжил просветлять нас: — В данный момент, например, я занимаюсь спортивными объектами нашего города. Для меня важно реализовать запланированные проекты: модернизацию и расширение нашего главного спортивного комплекса. Это сложное задание, которому я посвятил бесчисленное количество дней. Было бы приятно его выполнить.

Эндриня еще раз подчеркнула:

- В любом случае, даже если в определенный момент твоей жизни что-то пойдет не так, как бы огорчительно это ни было, нет причин отчаиваться,

поскольку, вероятно, в следующий раз ты сможешь достичь более удачного результата.

- Именно на это я и надеюсь. Действительно, очень мало людей поддерживали и верили в меня. Мои родители, например, всегда настаивали, чтобы я закончил юридический факультет и стал адвокатом, но каким бы давящим и неуместным ни было для меня их вмешательство, им так и не удалось сбить меня с того пути, которому я хотел себя посвятить, и увести от желания действовать по-своему, — произнес он и подытожил: — Так или иначе, по мере возможности, нужно сохранять спокойствие, потому что главное — иметь цели, и если в этот раз у меня не получится, я займусь чем-то другим, надеясь, что в будущем мне повезет больше.
- Значит, мечту посвятить себя развитию наших спортивных сооружений ты мог бы променять на любую другую цель, которая привлекла бы твое внимание? — спросил я.
- Да, конечно. Нужно понимать, что иногда нелегко найти занятия, которые действительно воодушевляют, однако, да... Важно быть все время занятым чем-то, — чем-то, что приносит удовлетворение. Трудность, как я раньше сказал, может заключаться в том, что, когда ты достигаешь цели или, наоборот, терпишь неудачу, приходится переживать туманные моменты, дни, месяцы, когда охватывает беспокойство от того, что ты ничем не занимаешься и чувствуешь себя “вынужденным бездельником”. И пока ты не увидишь следующей цели, к которой стоит стремиться, начинаешь погружаться в грусть, в уныние, — заключил мой брат.
- На самом деле, это понятно, что при достижении цели человек испытывает счастье, — сказала Эндрина. — Но спустя некоторое время он снова начинает ощущать недовольство, бездействие, может быть, даже бесполезность, и он сразу же должен найти другую цель. Или, что еще хуже, когда человек даже не достигает своей цели, он расстраивается и думает, что время ушло или почти потеряно. И все равно ему приходится делать то же

самое: двигаться вперед и вкладывать свое время в новые занятия, — затем она добавила, слегка улыбнувшись, возможно, с намеком на восхищение: — Бруно должен чувствовать себя активным, иначе мир обрушится на него.

Тот не заставил себя ждать и подтвердил:

- Так оно и есть, активным в повседневной жизни, так сказать. Ведь, конечно, самые важные для меня вещи — это Эндрина и моя семья или мои друзья. Они, конечно же, стоят на особом уровне. Если, со стороны прагматизма, мне нравится заикливаться на достижении целей, то с другой меня тянет к тому, чтобы уделять внимание людям, которые мне интересны, моим близким. И к тому, чтобы, возможно, когда-нибудь самому создать семью, потому что я всегда этого хотел. Я всегда был семейным человеком.

То, что только что сказал мой брат, меня ничуть не удивило. В глубине души я всю жизнь это знал, интуитивно это чувствовал. Иметь детей с Эндриной было бы осуществлением его мечты и венцом его жизненной философии.

Что осталось бы от Бруно, если бы у него отняли его цели, его практическое счастье? Или если бы у него отобрали Эндрину и его друзей — то, чем, по его словам, он дорожил? Продолжил бы мой брат существовать, или его сущность растворилась бы в воздухе? Чем был Бруно без окружающей его публики и его дел, которые усердно пытались отнять у него драгоценное время его жизни?

В данных обстоятельствах я произнес с легкой грустью и иронией:

- А когда твои дети вырастут, что ты собираешься делать?

Он ответил:

- Когда мои дети (если они у меня когда-нибудь будут) достигнут определенного возраста, я полагаю, настанет время посвятить себя подготовке к смерти в мире и спокойствии рядом с Эндриной. Неслучайно говорится, что «когда крыша дома закончена, приходит смерть».

В этот момент Эндрина спросила меня:

- А ты? Твоя очередь рассказать нам какой-нибудь твой сон.

Я, застигнутый врасплох, согласился. На мгновение задумался, так как почувствовал нарастающее уныние и неловкость, потому что я не знал, что им сказать, и разумеется, не нужно говорить, просьба Эндрины была бесполезной. Признаюсь, что хотя я всегда считал себя “стойким”, с незыблемыми моральными принципами, человеком, который редко позволял поставить себя в затруднительное положение, и, к тому же, источающим холодность и равнодушие ко всем, в тот момент я испытал некое замешательство. Я продолжал находиться в этом состоянии, пока мне не пришла идея выдумать сон, и, мельком взглянув на Бруно, я начал говорить:

- Хорошо, я расскажу вам самый лучший сон в моей жизни. Он приснился мне несколько лет назад и с тех пор запечатлелся в моей памяти как нечто неописуемо прекрасное. Я бродил по чудесному лесу в компании нашего отца. Необычной вещью, которая отличала этот сон от всех остальных, было то, что на окружающих нас деревьях были не плоды, а тромбоны, и мы намеревались их собрать. Я помню, как держал один в руке — один из тромбонов — и подул. Однако из него вырвался только пронзительный свист, поэтому я повернулся к отцу и прокомментировал: «Он явно еще не созрел. Нам лучше пойти поискать другие». Было забавно и приятно там оказаться.

В конце моего короткого рассказа Эндрина, слегка посмеиваясь, воскликнула:

- Несмотря на его некую холодность, надо признать, он творческий человек.

Бруно также не удержался от заявления, прозвучавшего слегка фальшиво:

- Да, Адриан, действительно, кажется, это был прекрасный сон.

Чуть позже, после ужина, мы подхватили наши пальто и вышли. Бруно и Эндрина планировали пойти на спектакль этим вечером. Мой брат никогда не увлекался

театром, поэтому я предположил, что это была идея Эндрины. На самом деле она всегда имела определенную склонность к театру, и, чтобы «доставить ей удовольствие», мой брат или кто-то из ее подруг оказывали ей любезность, сопровождая ее, разыгрывая искренний интерес к этому развлечению.

Тем вечером, когда я вернулся домой, Джованна еще не совсем успокоилась. Этого следовало ожидать. Тем не менее, она попробовала, — возможно, руководствуясь порывом гордости и сдержанности, — начать трезвый диалог.

- У меня такое впечатление, что ты уже не можешь видеть реальность объективно, словно смерть вызвала у тебя некоторое искажение восприятия. Кажется, что все, к чему ты стремишься, включая людей, с которыми ты общаешься, было пропущено через фильтр смерти нашего общего друга, — начала она.
- Я полагаю, это неизбежно, ты не согласна? — спросил я в ответ. — Любое событие, будь оно счастливое или несчастливое, решительным образом меняет нашу жизнь.
- Но зачем заставлять окружающих тебя людей принимать на себя эти негативные последствия, передающиеся от человека к человеку? Какой смысл применять этот фильтр ко всем? У меня возникает впечатление, что твое поведение и эти воздействия на меня, — не что иное, как способ не отпускать Марчелло.
- Я не считаю, что заставляю кого-то, Джованна. В то же время, я не думаю, что ты можешь многого ожидать от меня в данной ситуации. Ты требуешь то, что я не могу тебе дать.
- Однако я не прошу много, я не из тех, кто умоляет тебя оторваться от прошлого, чтобы начать жить полной жизнью в настоящем. Просто я не одобряю этой холодности ко мне, которую ты начал проявлять после смерти Марчелло, — она слегка приподняла брови, движение, отмеченное легким

налетом превосходства, чистоты, из которой, тем не менее, просачивалось чувство плохо скрытого отчаяния, обиды.

После некоторого молчания я начал объяснять:

- Очевидно, что когда речь идет о радостном событии, мы все готовы разделить счастье, а вот когда речь идет о чьей-то смерти, нас угнетает мысль о том, что нас могут захлестнуть негативные эмоции. Это странно, не так ли? Именно поэтому я стараюсь держаться от тебя подальше, чтобы сохранить эту боль только для себя. Я не считаю этот выбор таким неподходящим. — Затем я решил добавить, немного обескураженный: — Я не способен обращать внимание на чувства пред темой смерти, хотя они остались неизменными. Для меня смерть всегда была чем-то, что стоит выше всего, требующим глубокого уважения, как моральный принцип, который нельзя нарушать.
- С этим я соглашусь, — ответила она. — Хотя мне кажется, что так сильно цепляться за принцип — абсурдно, ведь он не более чем составная часть чего-то большего: морали человека, которая формируется благодаря его интеллекту и чуткости. А придерживаться принципов — это только следствие нравственности человека. Твое видение слишком узкое. Конечно, ты отстаиваешь свою мораль, утверждая, что поступаешь правильно: ты потерял друга, который был тебе дорог, и теперь считаешь нужным отдать ему дань уважения. Делаешь это прямолинейно, почти систематично. Но, к сожалению, есть разница между принципом, который соблюдаешь в отчаянии и за который ты цепляешься, чтобы не поддаться горю, и принципом, который является частью твоей морали.

Я ответил ей:

- Я не считаю себя поверхностным человеком, который уделяет внимание своим страданиям или радостям или находится в их власти, так как я вечно старался основывать свою жизнь на моральных понятиях, на чем-то

существенном. Однако это просто значит следовать этическим концепциям при принятии решений, и не равносильно тому, чтобы заставить эмоции исчезнуть, ведь они тоже являются неизбежной частью нас.

После этого мы долгое время хранили молчание.

Я тогда задумался о том, что если жизнь Джованны всегда была чрезвычайно упорядоченной, то таким же был и её способ представления морали людей, почти методичный, как будто основанный исключительно на ее холодности, на рациональности. Холодности, которую, как мне казалось, она сама презирала, но от которой совсем не могла избавиться. Из ее слов следовало, что она видит жизнь как партию шахмат, и время, которое нам предстояло прожить, мы должны были использовать, чтобы предугадывать следующий шаг противника, пытаюсь предвидеть все вероятные сценарии и избегая любой ценой возможных неразрешимых конфликтов. При этом она не осознавала, что что-то подобное было неприемлемо, когда речь идет о потере близких, просто потому что человек чрезвычайно эмоционален, и выражение «логика управляет жизнью», которое она обычно произносила, теряло значение.

- Хотя смерть, безусловно, отнимает у нас самое дорогое, омрачает наш разум, оставляет нас беззащитными, в то же время она возвращает нас к тому, что нам наиболее ценно. И когда жизнь сливается со смертью, хотя это и тяжелая задача, наш долг — продолжать ее, — снова начала проповедовать Джованна. — Мы, безусловно, не можем позволить себе тратить время в покорности, в постоянных размышлениях об идеальном прошлом, предавать себя, и как бы это ни было правильным — испытывать боль и не смиряться с поверхностными утешениями, — жизнь нужно жить, удерживая ее на заранее заданном курсе.
- Но в моем случае, с тех пор, как я потерял Марчелло, моя жизнь стала тождественна его смерти. Неправильно говорить, что жизнь и смерть слились; скорее наоборот, у меня такое впечатление, что жизни уже давно нет. Понимаешь?



- Боюсь, что заявлять, что нет жизни — это просто предлог, оправдание. Речь идет не о том, чтобы забыть Марчелло, или об ограниченной чуткости, или цинизме, а скорее о признании чего-то, что преобладает над всем остальным, — о долге.
- О долге? Ты имеешь в виду, что обязанность жить следует воспринимать как принцип? — уточнил я.
- Конечно, — убежденно кивнула она.

Лично я не мог понять “обязанность жить”, мне казалось странным придавать тому, чтобы жить, такую значимость, ведь никто нас не спрашивал, хотели ли мы появляться на этот свет. Наше рождение не зависело от нас, оно было вне нашего контроля. Смерть, напротив, и реакция на уход близкого человека были нашим выбором, отражающим нашу личность и свидетельствующим о том, насколько мы соответствуем нашим принципам.

Потом она продолжила:

- Недопустимо, чтобы, столкнувшись со смертью, человек не преобразился в каком-то аспекте своей жизни и не стал бы более чутким по отношению к жизни. Может быть, смерть должна научить нас именно этому: взаимопониманию с другими людьми.

С легким недоумением я ответил:

- Возможно, для некоторых смерть может послужить стимулом любить живых, для меня это не так. Я не могу уловить в этом явлении такого урока, никогда не смогу понять, как что-то такое прекрасное, как любовь, может вытекать из чего-то столь непонятного и болезненного, как смерть. Это просто неприемлемо, что в нашем мире уродство постоянно притягивает красоту — странную, недостижимую и искаженную.

После этого мы замолчали.

Обоим было очевидно, настолько слова служили лишь для заполнения продолжительных промежутков времени и никогда не были способны проникнуть в сознание другого человека. Может, они и достигали его, но не оказывали влияния, а пролетали мимо. Я спрашивал себя: волнует ли всех нас — мой маленький мир знакомых людей — жизнь, или, скорее, мы в основном заботимся о том, чтобы абстрактно определить, в чем она состоит и как ее следует проживать? Наши словесные определения жизни и сама жизнь переплетались, смешивались, давая нам возможность не погрузиться в хаос. На несколько секунд мне показалось, что в наших словах была заключена сама суть жизни.

В ту ночь, после разговора с Джованной, я, помню, продолжил размышлять о том, что она всегда крайне негативно относилась к самоубийству. Возможно, я подумал об этом именно потому, что мне казалось, что вся критика, направленная в мой адрес, касалась не только меня, но и Марчелло, которого я совсем не чувствовал права судить.

Джованна относилась к суициду как к слабости, греху, расточительству драгоценного дара, который при любых условиях мы обязаны использовать. Прерывать существование своими собственными руками она считала жестоким и глупым поступком.

Мой взгляд на вещи был другим, так как в некоторых ситуациях я был даже за суицид. Я могу заявить, что некие причины самоубийства казались мне весьма достойными, возвышенными. Как действие, демонстрирующее личность человека, без которого в определенных контекстах невозможно доказать правдивость собственных идей, оно несомненно было для меня самым достойным.

И если суицид мог послужить для того, чтобы развеять любые сомнения относительно личности — относительно идей, убеждений, того, во что человек решает верить, независимо от видимости и фактов, — то я не вижу в этом ничего предосудительного.

На следующий день, как всегда, я находился в издательстве на работе. Это был обычный серый день, как сказали бы многие. Или, может быть, не столько день, сколько моя жизнь казалась им серой, однообразной, ведь она была монотонной, а я не был особенно склонен ни к новым впечатлениям, ни к веселью, ни к развлечениям. Книги, которые я читал в рабочее время, не представляли особого интереса.

Как часто бывало, во время обеденного перерыва я встретился с директором, который почти сразу же сделал необычное замечание о наших авторах:

- Каждый день мы получаем десятки рукописей, которые нам предлагают для публикации. За каждой из них, безусловно, стоит человек, посвятивший много времени созданию своего произведения, желая донести свою мысль, выразить свое видение мира или развлечь читателей. Неважно, по какой причине они пишут, — он осекся и с несколько глуповатым и потерянным выражением лица решил сделать глоток кофе.

Я рискнул предположить, что он оставит этот разговор, едва начав, так как тема казалась неинтересной и незначительной. Но тут он взглянул на меня и продолжил свою речь:

- Счастливы ли все эти писатели, которые сотрудничают с нами? Приносит ли радость их профессия? Ты можешь представить себе автора-пессимиста, пишущего книгу со счастливым концом? И даже если он оптимистичен, полон радости, сможет ли он передать это своими словами или сохранит это для себя?

В первый момент, слегка удивленный его замечанием, я решил молчать, потому что был уверен, что директор продолжит разговор даже без моего участия. Притом я не считал себя способным ответить, чувствует ли окружающий мир себя счастливым, и возможно, мне даже было все равно. Директор принял еще более озадаченный вид, чем раньше, и произнес:

- Можно сказать, что я спокойный, уравновешенный человек, но о счастье я ничего не знаю. Если честно, я даже не помню, когда в последний раз был счастливым. — Он говорил трезво, как и всегда. Тем не менее, он поддался одному из своих приступов меланхолии, которые, пожалуй, проистекали из его повседневного, постоянного цинизма. — Часто говорят, что счастье — это сочетание различных аспектов жизни, и тем, кто гармонично переплетает их, удастся жить полноценно. Я, со своей стороны, никогда не доверял этому и, возможно, даже никогда не верил в само счастье.
- О каких именно аспектах идет речь? — недоумевая, решился спросить я.
- Полагаю, заурядные люди имеют в виду обычные вещи, такие как работа, семья, здоровье, отпуск, друзья, увлечения, личностное и духовное развитие и так далее. Все эти "сосуды", которые представляют собой все вышеперечисленное, делают их счастливыми и в то же время ограничивают их счастье, сдерживая эмоции внутри, — слегка засмеялся он.
- Да, я понимаю. Это то, что я и подумал, — добавил я, — несомненно, тема счастья сейчас является распространенным вопросом, вызывающим беспокойство. Это своего рода извращенный магнит, который притягивает без объяснения причин. Подобно тому как люди жаждут иметь детей, они жаждут быть счастливыми, причем сами не зная почему.
- Действительно, эти темы сейчас в моде. И если подумать, в разнообразных случаях достижение счастья, почти с гедонистической точки зрения, даже рассматривается как сам смысл нашей жизни, — ответил он.

Затем между нами снова воцарилась тишина, слышны были лишь обрывки разговоров окружающих нас людей, которые воспользовались возможностью поболтать во время обеда.

Мы молчали, пока я не решил заметить:

- Возможно, это скорее не аспекты, а места.

- Места? — переспросил он, не совсем понимая, что я имею в виду.

Так как эта тема разбудила во мне интерес, я стал излагать ему свое толкование и объяснять вопросы, которые вызывали недоумение.

- Я имел в виду, что это ситуации, обстоятельства, которые обычно порождают чувство безопасности. Безопасность и счастье — две вещи, которые, по моему мнению, очень близки друг к другу, — я сделал паузу и продолжил: — Представь себе поход в кино. Часто людей привлекает контекст кинотеатра, частью которого, конечно же, является и сам фильм. Сама суть развлекательного мероприятия, на которое они приходят, на самом деле им не так важна. Ты так не думаешь? — я углубился в дальнейшие рассуждения: — Людей не только притягивают контексты, люди также вынуждены ограничивать себя в их выборе, а это, как по мне, малопривлекательная перспектива. Человеку разрешено выбрать, на какой поезд он хочет сесть, но после этого решения единственным "приговором", который он может произнести, является: «Поезд из... прибывает на платформу...» — фраза референтивная, денотативная, информативная, характерная именно для того контекста.

После недолгих раздумий мой собеседник согласился:

- Да, я полагаю, люди довольствуются всем тем, что ты только что описал. Может быть, они самодовольно думают, что сами выбирают эти контексты, окружение, как будто это своего рода свобода воли. Таким образом, эти выборы становятся отражением их образа мышления и дают им возможность обмануть себя в том, что через выборы просвечивает их личность, — он говорил в непринужденной манере, как философ, осознающий, что говорит ни о чем и, прежде всего, о темах, которые его лично не касаются. Потом он добавил: — Я считаю себя привилегированным, я не беспокоюсь обо всем этом, поскольку испытываю чувство спасения, что мне удастся держаться в стороне, и это чувство, возможно, проистекает именно из того, что я не верю в счастье и ощущаю

себя нейтральным наблюдателем, — получается, про человека в таком положении почти нечего сказать, — заключил он, издав легкий смиренный смешок.

- Ты считаешь, ты мог бы описать самого себя? — осмелился я его спросить чуть позже.
- Да. То есть, я думаю, что да, — ответил он и добавил: — Я считаю, что мне не составит труда охарактеризовать свою личность. Почему ты задаешь мне этот вопрос?
- Думаю, потому, что у меня, наоборот, возникают серьезные сомнения на свой счет. Как бы сильно я ни был уверен, что знаю себя относительно хорошо, я все равно не смог бы описать себя.
- Как такое может быть? — спросил он настороженно и удивленно.
- Точно не могу сказать. Просто у меня возникает ощущение, что если бы я попытался рассказать о себе, то каждый раз описывал бы немного другую версию себя, и в результате не получилось бы ничего, кроме мириад приближений. С другой стороны, кто может точно знать, кто я в действительности? Возможно, я сам — единственный, кому это доступно, или даже не я? — в сомнении задумался я, а потом продолжил: — Разве я существую, если абстрагируюсь от контекста, в котором присутствуют другие люди, в которых мне позволено отражаться и с которыми могу сравнить себя? Если кто-то увидит меня в реальной жизни, не зная предпосылок моих действий, он обнаружит множество моих граней и версий, потому что каждая ситуация — это самостоятельная реальность, к которой нужно приспосабливаться, а каждый день — маленькая неожиданность, — я прервался, а затем подытожил, слегка взволнованный: — Одним словом, где мы можем найти самих себя как личности? Где мы можем отыскать свою духовность за пределами мест, которые характеризуют нас, которые определяют наше счастье и печаль?

Директор закурил сигарету; он выглядел цинично, окутанный томной атмосферой превосходства. Я не мог точно сказать, было ли такое поведение призывом смириться с тем, что мир функционировал таким образом и изменить его было невозможно, или же он думал о том, что я хоть и умный, но, на его вкус, слишком наивный.

Вскоре мы покинули кафе и отправились обратно в издательство.

Где-то в пять я закончил работать. Вместо того чтобы идти привычной дорогой домой, я решил побыть некоторое время наедине с собой. Я направился к северной части озера, не намереваясь задерживаться там слишком долго. Не знаю, почему я пошел именно туда, полагаю, это была просто случайность. Это было тихое место, редко посещаемое жителями нашего города, где можно было спокойно погулять по берегу.

Мои мысли отчаянно разбегались. Все люди, с которыми я общался, и разговоры, в которых я участвовал или которые невольно подслушивал, казались мне в тот момент такими нелепыми. Мой разум не мог сосредоточиться ни на чем конкретном, ограничиваясь лишь воскрешением в памяти бесполезных воспоминаний о прошлом или услышанных недавно утомляющих сплетен. На ум пришла мысль о нашей секретарше Милене, которая, уходя с работы, заявила:

- Теперь, когда я, наконец, опубликовала свою первую книгу, я чувствую удовлетворение собой. Вероятно, это только начало моей литературной карьеры. — Затем она добавила: — После стольких лет метаний от одной деятельности к другой я, наконец, нашла свое место в мире.

Чем больше таких бесполезных фраз мне приходило на ум, тем острее я ощущал, как растет мое безразличие.

«За что ее будут помнить: за ее книги или за то, каким она была человеком? Может быть, ее запомнят по фразам, которые она высказывала о своей рукописи? Или по тем, которые произносили ее читатели?» — Я не мог не задаться этими вопросами.

«За что обычно помнят человека? За сплетни, которые он распространял за время своего существования?»

В конце концов, размышляя я, жизнь людей в значительной степени состоит из рутинных дел и коротких повторяющихся диалогов. И, по правде говоря, сам язык, который все мы выучили, мне казался чем-то идеально подходящим к этому желанию людей сплетничать или делать бессмысленные замечания. По сути, в каждое наше высказывание рекомендуется включать одушевленное или неодушевленное подлежащее, за которым должны следовать глагол, прилагательное, наречия места, времени и тому подобное. Как если бы это была математическая функция, которая, начиная с простых подлежащих, приводит к появлению подлежащих с описанием-сплетней.

Это то, что касается утвердительных предложений. Но применим ли тот же механизм функции к вопросам? Наверное, да, ведь по сути вопрос — это человек, который вначале лишен информации и желает ее получить, а ответ — это человек, кому было предоставлено новое разъяснение. А тогда вопрос, заданный самому себе, означает не что иное, как поручить функции наполнять саму себя сплетнями?

Размышляя еще некоторое время, я вскоре пришел к выводу, что это различие между утвердительными, вопросительными и, вероятно, восклицательными предложениями было ужасно плоским, так как, в конечном счете, все предложения могли рассматриваться как вопросительные. С другой стороны, существование самого языка не было бы оправданным, если бы не его функция — задавать вопросы и получать ответы. Таким образом, однако, все сводилось к субъектам, которые нужно было наполнять словами, группировать различными сплетнями по разным темам.

Я бродил. Время от времени мой разум включался, раскрепощенно выдвигал предположения и даже не интересовался, были ли они согласованы и остроумны или, возможно, совсем наоборот.



Я продолжил думать о функции языка. Я размышлял о том, что больше всего меня отталкивает его способность дублироваться: по факту, хорошо известно, когда один человек задает вопрос другому, есть большая вероятность, что тот, кого спросили, после ответа задаст ему тот же самый вопрос, даже не потрудившись быть оригинальным и креативным. Точно так же люди склонны беседовать на банальные, но знакомые темы, где у них появляется возможность комментировать, а не о чем-то необычном и, возможно, захватывающем.

Таким образом, я продолжал спрашивать себя: «За что нам вообще хранить память о большинстве людей? За рутинные дела, которые они совершают? За сплетни, которые они произносят?»

На мгновение я почувствовал, что мне иногда сложно понимать даже близких людей. Я осознал, что даже не желал больше понимать их, а просто предпочитал надолго хранить молчание. Что по очевидным причинам было почти невозможно сделать, потому что, как только я вернусь домой и встречу Джованну, я был уверен, она станет опять жаловаться на то, что весь год я не выказывал ей должной любви.

Вдруг я наткнулся на мать Марчелло, которая тоже прогуливалась здесь. Она сразу же меня узнала. После обмена приветствиями мы некоторое время молчали. Возможно, нам обоим было трудно найти подходящие слова, чтобы начать разговор. Я не хотел быть тем, кто нарушит это молчание, или, может быть, не был способен это сделать.

В тот момент я заметил, что отсутствие восхищения и уважения, которые я всегда испытывал в отношении Элены (как и ее сын, что нас связывало), испарилось. Не то чтобы исчезло, скорее, стало несущественным. Мы не виделись уже несколько месяцев.

Она была неразговорчивой, даже замкнутой. Некоторое время она молча смотрела на озеро, пока не решилась заговорить.

- Я вышла сделать кое-какие покупки, обычные рутинные дела, которые нужно выполнять, — вздохнула она, слегка мне улыбнулась и добавила: —

Закончив с ними, я захотела прийти сюда ненадолго погулять. Сегодня мне это действительно было нужно. Бывают дни, когда тоска сильнее, чем обычно. А у тебя как дела?

- Елена, у меня все нормально, — ответил я без излишней уверенности, скорее потому, что чувствовал себя обязанным что-то ответить, чем по какой-либо другой причине. Я счел, что нейтральный ответ лучше всего подойдет в данной ситуации. Не имело смысла вдаваться в детали о том, в каком состоянии я был в последние месяцы, так же как мне казалось на грани абсурда произносить какие-либо слова утешения.
- Мой сын раньше часто приходил сюда, в эту часть озера, — произнесла она, словно мысленно находясь где-то далеко. — Это место помогает мне вспомнить Марчелло, с ним связано столько воспоминаний, которые, к сожалению, с течением времени все больше и больше тускнеют. — Повисла продолжительная пауза. Создавалось ощущение, что она разговаривает сама с собой. — Когда я здесь, напротив, даже самые незначительные воспоминания возвращаются ко мне, и я с удовольствием переживаю их заново. Каждый момент стоит того, чтобы воссоздать его в памяти, лишь бы он заставил меня почувствовать близость сына.
- Конечно, я понимаю, — ограничился я коротким ответом.

Несмотря на ситуацию, она говорила спокойно, в своем типичном слегка сентиментальном тоне. Внешне она не была охвачена отчаяньем и, я думаю, она хранила боль внутри себя. Затем она снова погрузилась в затяжное молчание, не заботясь о времени. Она потерла рукой щеку, а я не знал чего ожидать и не мог представить, что еще она могла добавить. Я ждал. Молчание затянулось настолько, что я начал ощущать легкую неловкость, так как даже я не мог найти подходящих слов. Наконец, почти застав меня врасплох, она сказала мне крайне доверительно:

- Все произошло так неожиданно. Он всегда казался нам счастливым и довольным человеком. Мы его любили, его друзья тоже, и он умел

добиваться от жизни практически всего, чего хотел. И, тем не менее... Тем не менее... Он был так молод. Есть вещи, которые превосходят человеческое понимание. Для нас так много осталось необъяснимым. Как это возможно, что человек, у которого было все, на самом деле испытывал такое глубокое презрение к жизни? Это практически абсурдно. Абсурд, в буквальном смысле слова.

Произнеся эти бессвязные фразы, она немного пришла в себя и обратилась ко мне:

- Через две недели состоится вечер памяти Марчелло. Прошел уже год. Естественно, твое присутствие нас бы порадовало. Твой брат Бруно и его невеста уже сообщили нам, что придут.

Заявление Елены было неудобным со всех точек зрения.

- Я понимаю, что вам бы хотелось, чтобы я принял участие в этом, однако, поскольку для меня это очень личное, боюсь, что не смогу прийти. Как бы мне ни хотелось сделать вам приятное, я вынужден отказаться.

Несколько сбита с толку, она спросила меня:

- Что ты имеешь в виду?
- То, что, придя, я бы чувствовал, что проявляю неуважение к Марчелло.

Поскольку Елена продолжала не понимать мои слова, более того, по ее выражению лица я боялся, что она сочтет их совершенно безумными и бессмысленными, я счел необходимым сделать попытку разъяснить.

- Говоря о незначительных воспоминаниях о Марчелло, которые у меня сохранились, я помню, как однажды ваш сын в хорошем настроении сказал мне: «Если я умру раньше тебя, не смей приходить на мои похороны, иначе ты унизишь нашу дружбу. Ты не мог бы совершить более несправедливого поступка». Понимаете теперь? Также я помню, что не смог удержаться от ответа: «И ты тоже не приходи на мои похороны, даже не вздумай

утверждать, что сможешь прийти, иначе я перестану считать тебя другом». И в данном случае — в случае вечера памяти — боюсь, что это очень похоже на церемонию похорон. — Затем я добавил: — Марчелло было легко понять, он испытывал чрезмерную неприязнь к церемониям. В некоторых аспектах мы были похожи, и мне важно не нарушить установившееся между нами взаимопонимание.

Елена выслушала мои слова о памятных церемониях и похоронах, но было очевидно, что она не одобряла их.

- Как можно быть настолько против этого? Ведь вечер памяти — это так естественно, подлинно, придумано для того, чтобы выказать почтение ушедшему человеку и сохранить воспоминания о нем живыми, ничего более.
- Это так, — согласился я. — Но памятная церемония все же слишком похожа на своего рода “дела”, набор рутинных действий. Понимаете? Есть стремление регламентировать что-то произошедшее, выделив для этого определенный день и соблюдая прочие формальности. Это нечто, выходящее за пределы моего понимания.
- Честно говоря, я не разделяю такую точку зрения. Для меня формализация смерти через такие церемонии — это хорошо, так как это способ держаться вместе и противостоять утрате. Это то, что помогает нам, что приносит утешение, потому что мы осознаем, что увековечиваем память о Марчелло. Это способ помнить о нем, чувствовать себя соединенными с ним.

На что я ей ответил:

- Я могу понять, что некоторые люди находят утешение в таких встречах, и я уважаю это. Мне от них ни лучше, ни хуже; они навевают полное равнодушие. Для меня они лишены смысла, так как представляют собой что-то вымышленное, что уже не касается напрямую Марчелло. Понимаете меня? — Я сделал паузу и продолжил объяснять: — Они напоминают мне дворец памяти, который мы знаем в подробностях, собственное место,

которое принадлежит нам, как и воспоминания, которые мы храним о Марчелло. И словно в какой-то момент нашей жизни мы начинаем заполнять этот дворец предметами, новыми, случайными словами. Это было бы как смешение реального с нереальным, воспоминаний, которыми мы действительно обладаем, с искусственным.

Вскоре я понял, насколько тщетны были мои попытки оправдать мое нежелание приходить. К счастью, Елена не настаивала, и скоро разговор подошел к концу.

В тот вечер Джованна вернулась домой чуть позже меня. Ее настроение было настолько переменчивым и восприимчивым, что в последнее время я никогда не знал, чего ожидать. Вероятность того, что она будет в хорошем настроении, была практически равна вероятности, что она будет не в духе.

Я часто спрашивал себя, почему мое поведение вызывало у нее столько беспокойства и неуверенности. Неужели все эти перемены так сильно напугали ее? Я задавал себе этот вопрос потому, что каждый раз, когда она упоминала, что мое отношение к ней изменилось, я замечал в ее словах, помимо некоего желания упрекнуть меня, еще и запредельный страх или даже чувство одиночества.

«Я способна принять твою боль и твое уныние. Единственное, что не могу никак выносить, это то, что ты меня отталкиваешь», — пришли мне на ум ее слова. Я абсолютно не знал, что с этим делать. Более того, я осознавал, что даже не уверен в своей правоте. Однако мне было очевидно, что мы видели одну и ту же реальность в разных перспективах. Реальность искажалась, и каждый из нас был способен увидеть ее только в своем ракурсе, потому что за определенной гранью я уже не мог встать на место Джованны, как она не могла встать на мое, и разглядеть единую реальность. Единственное, что было фактом — это то, что Марчелло умер.

«Есть ли вещи, которые нам не дано выбирать после определенного предела? Может ли быть такое, что существуют некие обстоятельства, при которых мы не можем требовать от других определенного поведения, мы не можем его изменить и должны принять, как Джованна, так и я?» Чем больше я размышлял о том, что

правильно, тем больше чувствовал, что понимаю все меньше и меньше и уже ни в чем не уверен.

Когда появилась Джованна, мне стало ясно, что день ее прошел не слишком напряженно, она казалась относительно умиротворенной.

- Как твой день? — начала она.

Я слегка рассеянно улыбнулся. Она по привычке задавала мне этот вопрос, а я ей. Однако в тот вечер, признаюсь, эта привычка на мгновение показалась мне нелепой.

- Ну, думаю, нормально. — В конце концов, мой день можно было бы назвать нормальным, только нужно было договориться о значении слова “нормально”. — А ты сама как?

- Сегодня я закончила раньше обычного. Вышла с работы где-то в четыре, потом сходила с подругой на выставку фотографии. Она хотела, чтобы я составила ей компанию.

Джованна повесила пальто и сразу начала приводить в порядок книги, которые были разбросаны на столе. Она всегда имела отчаянную потребность держать все в порядке. Любопытно было то, что этот же самый порядок иногда ее душил, как она заметила мне по телефону несколько дней назад: «Мы вечно прерываем разговоры из-за работы, родственников, коллег или чего-то еще, что требует нашего внимания».

У меня было впечатление, что она сама себя заточила, и в то же время чувствовала желание освободиться. И если внутри был порядок, на поверхности царило ее настроение, которое невозможно было подчинить. Я несколько секунд соблюдал молчание, надеясь, что она продолжит беседу.

- Я ходила на фотовыставку, — снова заявила она.

- И...? — поторопил я ее.

- Это были цветные фотографии природных и городских пейзажей в основном. Они старались максимально воспроизвести реальность в деталях, до совершенства. Боюсь, я не понимаю фотографию. Или же у меня создается впечатление, что чем больше они пытаются приблизиться к изображению реальности, тем дальше они от нее отдаются и становятся фальшивыми. Ты не согласен?

Я непринужденно кивнул, заинтригованный ее словами, и бросил взгляд за окно: там закатное небо было свинцовым, неподвижным, застывшим. Оно навевало ощущение однообразия или смерти.

Она продолжала:

- Искусство, в большинстве случаев, является сугубо коммерческим явлением. В нем так сильно отсутствует внутренняя мука. И все, что является плодом внутреннего беспокойства, в большинстве случаев не интересует публику. И все же, такие индивидуумы — которые, кстати, не обязательно должны быть творческими людьми — единственные, кто может попытаться показать нам другой, собственный, внутренний мир, который не является повторением реальности. В противном случае, сколько бы нам ни предлагали фантастику, она все равно остается чем-то, что входит в реальный, банальный мир.

Джованна была определенно в хорошем расположении духа. Меня всегда поражало, насколько быстро могло меняться ее настроение. Я подумал, что это отличный день для обсуждения любых тем, не касающихся моего поведения за последний год. Я заметил:

- Да, действительно, то подобие реальности, которое мы констатируем снаружи, — не более чем бесконечность фрагментов времени, соединенных друг с другом рутинных, повторяющихся действий, и с какой перспективы на них ни смотри, я подозреваю, что они остаются банальными действиями и ничем иным.

- И все же, если так, то в душах людей должно бы быть много внутренних терзаний. Искусство же сегодня предстает почти как самоцель, еще больше отдаляя нас от действительности и не вызывая у нас ничего, кроме чувств отчужденности, отстраненности и ненормальности.
- Да, — я разделял ее мнение. — Лично я думаю, что люди так мало знают самих себя, что могут себе позволить одно: попытки изобразить ту единственную реальность, которая вырисовывается перед их глазами, с разных перспектив. Некоторые акцентируют внимание зрителя на веселье, другие — на грусти, на нелепости и тому подобное. Мне кажется, что разные перспективы — это воплощение настроений людей, ничего больше.

Джованна отметила:

- Безусловно, люди не знают самих себя. Однако, на мой взгляд, особенность разных людей заключается еще и в том, что они склонны к тому, чтобы их существование совпадало с внешней жизнью, а не с внутренней, почти несуществующей. При этом абсурдно обольщаться, что они могут познать самих себя, ведь они не существуют.

Мы молчали несколько мгновений. Может быть, обоим казалось, что разговор все больше и больше скатывается в абсурд. В любом случае, если Джованна испытывала тревогу, она мрачнела, обдумывая эти темы, и, вероятно, чувствовала, что что-то очень серьезное не сходится, я, напротив, осознавал, что смог сохранить несоразмерное спокойствие, полное и отчужденное равнодушие.

Она продолжила:

- Искусство было бы полезно только в том случае, если бы оно способствовало духовному обогащению людей. В противном случае его можно считать полной растратой времени. — Я заметил, что с каждым словом она распалялась все больше. После паузы она продолжила: — Я говорю не об искусстве, а о жизни, об обогащении нашей духовности, которая, конечно, должна быть прожита. — Она замолчала, а затем заключила: — Ну а если



люди таковы — что ж, тогда нам остается лишь порадоваться, что жизнь конечна, а время никогда не останавливается или, вернее, человеку не дано его остановить.

На что я поделился размышлениями:

- Согласен. Единственное хорошее во всем этом то, что красивые вещи не стареют. Как наш друг Марчелло. Произведения искусства, которые действительно имеют ценность, которые стремятся передать какую-то идею или послание, какими бы заброшенными и забытыми они ни были, тоже не стареют. Заслуживающая внимания книга, написанная сто лет назад, вновь читается с удовольствием и сохраняет свою красоту. Я хочу выразить только то, что не имеет большого веса, в каком году было создано произведение, какая эпоха ему предшествовала и какая последовала за ним, — я сделал паузу и добавил: — Довольно легкомысленно утверждать, что, когда мы встречаем шедевр, мы должны воздерживаться от вынесения суждения до тех пор, пока нам не станут известны его происхождение и исторический контекст. Очевидно, что на протяжении истории техники изменяются, произведения пишутся по-разному, принимают иной стиль и так далее. Тем не менее, я настаиваю на том, что необходимо найти способ оценить значимость произведения, основываясь не на контексте, а на абсолютной красоте.

Джованна сохраняла молчание, размышляя. Чуть позже она объяснила мне свои умозаключения:

- Довольно нелепо утверждать, что может существовать абсолютная красота. По той простой причине, что искусство тесно связано с человеком и без него, по сути, не существовало бы. Я считаю, что человечество склонно усложнять и запутывать вещи. Это похвальная хитрость, потому что каждый раз, когда переходишь на более сложный уровень, становится всё труднее вернуться назад. В искусстве, когда изучают произведение, считающееся достойным внимания, обычно анализируют культурный, исторический,

социальный контекст, даже систему, к которой обращаются для его оценки. Это означает, что оценка может меняться в зависимости от художественного направления, к которому относится произведение, и типичных для этого направления критериев. Это что-то объективное, что подчиняется чему-то относительному, постоянно меняющемуся, подверженному постоянным тенденциям. Не так ли? А высшая степень неуклюжести достигается, когда заурядные люди притворяются, что продолжают ценить произведения искусства, которым уже сотни лет, тогда как в наши дни, с новыми критериями и эстетическими вкусами, они кажутся нам смешными. — Она сделала паузу, затем продолжила: — Размышляя о том, как люди запутывают критерии оценки и субъективируют все, становится очевидно, что окончательное слово критика занимает все более важное, привилегированное и, прежде всего, неоспоримое место. Неоспоримое потому, что речь идет о чем-то относительном; и чем больше критерий оценки относителен, а следовательно, произволен, основан на тенденции, тем более могущественным, а также догматичным, становится суждение критиков. — Она прервалась, после чего заключила: — Как может существовать нечто абсолютное, ведь мы говорим о тенденциях?

На что я ей ответил:

- Возможно, использование термина “абсолютный” было преувеличением. Я имел в виду, что несмотря на бесконечное множество тенденций, которые могут сталкиваться, навязываться, накладываться друг на друга, должно существовать что-то выше этого и, следовательно, способное составить оценку с чисто логической, не эстетической и изменяющейся точки зрения, — затем я добавил: — Возьмем, к примеру, одиночество. Существует ли такой концепт? Полагаю, мы могли бы часами сидеть в этой комнате и спорить по этому поводу. Кого можно считать одиноким: человека, который испытывает это чувство, хотя его окружает множество людей, или, наоборот, того, кто находится в уединении, но знает, что многие его понимают? Пожалуй, можно было бы обсудить, совпадает ли ощущение одиночества в

большинстве ситуаций с ощущением непонимания нас другими людьми? Или же одиночество возникает тогда, когда мы чувствуем себя исключенными, выставленными за пределы группы, которой хотели бы принадлежать? Общество придумало множество ярлыков для определения этого концепта, некоторые из них логичны и великолепны, другие не очень. Тем не менее неоспоримо то, что сколько бы человек ни был вынужден жить в обществе и, следовательно, наблюдать мозаику своей личности, отраженной в словах, которые он произносит, и в том, как он взаимодействует с другими, все равно сохраняется врожденная индивидуальность — одиночество — которым мы все обладаем и от которого не можем избавиться. Мы умираем в одиночестве, все. И это иллюзия, что кто-то может поставить себя на наше место хотя бы на мгновение, это просто невозможно.

Джованна сразу отреагировала:

- Одиночество, как ты сам утверждаешь, — врожденная составляющая человека. Искусство, напротив, является полностью изобретением. Любая форма искусства, по данному ей определению и сама по себе, существует только в обществе, подпитывается его оценкой, и кроме того, если понимать ее в высшем смысле, заключающемся в том, что целью является шлифование личности, искусство даже не могло бы существовать, если бы общество не было прогнившим.

Я ей возразил:

- Я не вижу причин, по которым искусство не могло бы существовать, если бы общество не было прогнившим, поскольку абсолютного совершенства не существует, всегда есть что улучшить. Что касается рассуждений об одиночестве, я считаю, что единственный способ быть максимально объективными — это транспонировать принципы, заложенные в человечестве природой, на все аспекты жизни, включая искусство.

Помню, тогда мне показалось, что Джованна доверяла человечеству еще меньше, чем я. Она продолжала повторять:

- Имеет ли смысл придавать логику чему-то столь нелогичному, как искусство? Разумно ли пытаться придать чему-то смысл в социальном контексте? С учетом абсурдности искусства не стоит ли нам позволить ему идти своим чередом, не пытаясь прервать его движение? Вдобавок, пока оно основано на эстетических понятиях, как можно применять теорию к тому, у чего нет основы?
- Я лишь утверждал, что, в идеале, искусство, чтобы стать чем-то, что можно считать рациональным и, следовательно, не догматичным и не неоспоримым — как ты сама говорила — должно перестать быть ограниченным, основанным на единственной перспективе, той, которую составляют различные тенденции. Потому что, на мой взгляд, отсутствие разнообразия перспектив лишает людей смелости подвергать искусство сомнению, высказывать критику. В конечном итоге, это способ загипнотизировать людей, заставляя их присоединяться к тенденции и убедить их отдаться этому постоянному течению жизни.

Через какое-то время наш разговор подошел к концу.

Бруно пригласил меня к себе; мы не виделись несколько недель. Его невеста уехала из города на весь день по делам, а Джованна уже несколько дней гостила у своей сестры. Так что я ужинал в компании своего брата. У Бруно был обычай приглашать меня или самому приходить на ужин по выходным, вероятно, из врожденного желания поддерживать семейные связи и общаться с ближайшими родственниками. Я не отказывался и не видел причин возражать; Бруно просто хотел компании. Мы беседовали.

- Надеюсь, рождественские каникулы идут тебе на пользу?

- Даже не знаю, что сказать. У меня было свободное время, конечно, однако... — не зная, как дальше продолжать разговор, я решил спросить: — Давай лучше о тебе, как дела? Как продвигается работа?
- Трудности встречаются каждый день, тем не менее, получается двигаться вперед. Главное, постоянно смотреть в будущее, — пояснил он, не углубляясь в детали своего проекта.

Поверхностно он мог бы говорить об этом часами, но если бы я пригласил его погрузиться глубже в вопрос, он бы сделал все возможное, чтобы этого избежать. Бруно не желал делиться с кем-либо своими целями — нынешними или прошлыми. С этой точки зрения он был закрытым человеком, чрезмерно сдержанным, даже более, чем я. Ему хватало знать, что другие в курсе его проектов, продвижения и достижений, остальное он хранил для себя и держал всех на астрономическом, безопасном расстоянии, чтобы никто не осмелился вмешаться. Если я признаю, что мог бы работать с Бруно в издательстве, то не смогу представить, что с его стороны это было бы так же.

- Ты всегда обладал практически безудержным оптимизмом, — заметил я.
- Это верно, я склонен быть оптимистом, — признался он и добавил: — В конце концов, человечество, невзирая на свои несомненные недостатки, достигло восхитительных результатов во многих областях: научной, экономической, политической, и я готов признать все их заслуги, в отличие от тебя, который... — Он слегка улыбнулся, — делает все возможное, чтобы видеть только самую нашу мрачную сторону.
- Скажем, я более реалистичен, чем ты, или измеряю успехи человечества другими мерками, — я откинулся на спинку стула и с глубоким спокойствием заключил: — Хотя у меня всегда было негативное видение мира, а у тебя, напротив, положительное, мне не кажется, что человечество вызывает у тебя больше интереса, чем у меня: мир для нас обоих безразличен.

Бруно ничего не ответил; на несколько мгновений он посмотрел в сторону окна, где шел снег, делая вид, что сомневается. Потом он бросил на меня взгляд и едва заметно кивнул, показав легкую улыбку осведомленности.

Чуть позже он сказал:

- Осталось всего несколько дней, и наступит новый год, — затем добавил с легкой встревоженностью: — Несмотря на различные неприятности, в которые мы попали, этот год промчался, как и другие. Время пролетает слишком быстро. — Он сделал паузу. — Чуть больше, чем через месяц, мне исполнится тридцать лет, а кажется, что только вчера я отмечал двадцатилетие. Приближение порога тридцати меня пугает, оно напоминает, что все испаряется и обращается в пустоту. За последние десять лет я занимался различными проектами и по причинам, не зависящим от меня — из-за неожиданных препятствий и неудач — не преуспел почти ни в одном из них. Мне кажется, что в моей жизни существует еще так много вещей, которые нужно воплотить в реальность, целей, которых нужно достичь, — заключил он, слегка покачивая головой с беспокойством, а быть может, даже с паникой.

Я тогда подумал о том, что Бруно часто ставил акцент на "том, что он мог бы достичь в своей жизни", а не том, что у него было. Возможно, он был неспособен это оценить, не замечал что имел. Именно об этом с горечью он подумает, когда придет время умирать, размышлял я с изумлением и тревогой.

- Тебе так беспокойно? — спросил я, чувствуя легкое волнение за брата.
- А тебе нет? — отозвался он, не успев даже задуматься.
- Нет, не думаю, — признался я.
- И я скажу, что, несмотря ни на что, я бы не хотел быть бессмертным. Хотя жизнь настолько коротка, что при этой мысли страх завладевает мной.
- Ты бы не хотел быть бессмертным? — переспросил я отстраненно.

- Нет, ни за что, — сухо ответил он.

Его ответ, признаюсь, был для меня необъясним. В то время мне казалась приятной жизнь со смертью, я принимал ее. Но на месте Бруно я хотел бы иметь возможность подчинять время своей воле, так же как располагать бесконечным его количеством. Потому что, сдается мне, это был бы единственный логичный способ сделать счастливым кого-то вроде Бруно и увенчать его мечты.

По этому поводу он объяснил мне:

- Ты понимаешь, что если бы я располагал временем по своему усмотрению, возникли бы проблемы высшего порядка, которые, на мой взгляд, находятся за пределами нашего контроля. Повторяемость — вечность — не приведет ни к чему, кроме тревожной апатии, отсутствия интереса к чему-либо и кому-либо. Жизнь, будь она вечной, несомненно, обесценилась бы.
- Обесценилась бы? — не понял я.
- Конечно, потому что именно время придает ценность тому, что мы делаем, действиям, которые совершаем, словам, которые произносим. Мои цели, например, имеют значение только потому, что я осознаю, что должен претворить их в жизнь в определенный срок. Это вызов, своего рода препятствие, которое нужно преодолеть, которое в конечном счете украшает и придает уникальность всему, что мы делаем в жизни. Ты не так считаешь?

Я ответил, что мой взгляд на вещи был другим: цель, которая имеет для нас значение, всегда сохранит свою ценность, независимо от минувшего времени, и что его рассуждения об апатии и повторяемости кажутся мне диссонирующими друг с другом.

Он в свою очередь парировал, что человек склонен к скуке, что скука сводит все на нет: дела, мечты, ощущения, чувства, что угодно. И что время хоть и нож с двумя лезвиями, и когда-нибудь оно отнимет нашу жизнь, оно сотрудничает с нами в борьбе со скукой, нашей пассивностью.

Впоследствии он сказал:

- Вечная жизнь, в любом случае, нам не дана. Зная это, мы обязаны сделать все возможное, чтобы не растрачивать время и найти способы, стратегии, чтобы быть счастливыми. Мне хотелось бы знать, как тебе помочь. Неужели ты не можешь взять пример с меня, хотя бы исключительно в этом аспекте жизни?

Бруно обожал вести себя как старший брат, который заботится о том, чтобы давать советы другим, и в то же время желал, чтобы ему выказывали уважение, то есть не противоречили ему, поскольку он был мудрее и имел больше опыта.

- Взять пример с чего, с твоей схемы счастья? — спросил я с недоумением.
- Конечно, с той части меня, которая стремится видеть положительные стороны жизни. Лично я считаю, что тебе следует научиться управлять своим счастьем, направлять его и находить в своей жизни опоры.

Мой брат утверждал, что жить так было более практично. В этом промежутке времени, который нужно было заполнить — в жизни, — необходимо было держаться за любые "опоры", которые нам по душе: семью, друзей, работу, развлечения. Это был его способ оторваться от настоящего и превратить свое существование в нечто нереальное, состоящее только из рутины, чтобы трансформировать и уничтожить наше «я» в простом физическом пространстве, которое мы занимаем, и, конечно же, в действиях, которые мы выполняем.

В тот момент я почувствовал, что он, должно быть, завидует мне за то, что я не одобрял его заранее определенную схему, которую, кстати, Бруно считал чем-то своим, а не заимствованным у других людей и адаптированным под себя. Возможно, за то, что я мог брать от общества только то, что меня удовлетворяло, и цепляться исключительно за то, что имело для меня ценность.



Мы вышли на прогулку. В этот час город был почти пуст. Холод нас окутывал, заставляя принять его, составлять ему компанию. Мой брат в какой-то момент кивнул головой в сторону окон какого-то здания.

- Как всегда, все заледеневшее, — произнес он шутливым, но отстраненным тоном.

Я кивнул равнодушно.

- Но даже в этом морозе есть своя прелесть, — добавил он без убежденности.

Я тем временем отвлекся и погрузился в раздумья: «Очевидно, большинство людей привыкло разделять свои дни на две части: одну, в которой они занимаются работой, и другую, в которой они посвящают себя развлечениям. Мне кажется, однако, что ни одной из этих двух половин жизни не удастся истинно захватить и заинтересовать их, потому что ни ради одной, ни ради другой они не готовы лезть из кожи вон, а скорее лишь позволяют им блекнуть и "обесцвечиваться"; тем не менее, они продолжают в том же духе».

Затем я продолжил размышлять: «У Бруно никогда не было этого недостатка, этой неопределенности: он всегда жил ради своей работы. Можно было ожидать гораздо большего от моего брата, потому что, как бы искренни ни были его любопытство и сила воли, его работа всегда будет способом держать себя занятым и обманывать себя тем, что он придает смысл своей жизни. Надеюсь, однажды он поймет, что, как бы он ни считал себя выше большинства людей и ни гордился тем, что кирпичик за кирпичиком построил обитель, в которой чувствует себя безмятежно, большинство этих кирпичиков ему совершенно не нужны». Наконец я задумался: «Несомненно, во мне нет ничего, кроме непримиримости и категоричности, желания поступать в соответствии со своей совестью, затаенной надежды — которую я вряд ли признаю, — что другие люди будут вести себя так же. Бруно, в свою очередь, состоит из его бесчисленных страхов не держать все под контролем, потребности в опорах, бремени доказывать своей деятельностью себе и своей “маленькой публике”, что он исключительная личность. А были ли мы

такими разными? Разве не были мы, по сути, людьми с “узами”, какими бы мелочными или возвышенными они ни оказались?»

Когда наступил вечер, Эндрина вернулась домой. Я остался у них ночевать, так как были выходные, и они точно не позволили бы мне уйти. В ту ночь я услышал необычный разговор. Я уже лежал на кровати, и из соседней комнаты доносились голоса Бруно и Эндрины. Я подумал, что они, должно быть, оставили дверь приоткрытой или предположили, что моя была закрыта.

Невеста моего брата сказала:

- В конце концов, в новом году, думаю, я приму предложение новой работы, которое мне сделали.
- Значит, ты решила? — спросил он.
- Да, более чем. Я тщательно обдумала это. Приняв его, я получу много преимуществ. Конечно, мне жаль покидать коллег, с которыми у меня были отличные отношения. Однако...
- Однако, иными словами, это своего рода повышение, и это правильно не упускать ни одной возможности. Ты будешь работать в более престижной лаборатории, — произнес мой брат, затем весело добавил: — Я горжусь тобой, — сделал паузу и заключил: — Правда.

Услышав последнюю фразу, я улыбнулся про себя. Было забавно слышать, как брат ее произносит, потому что он говорил это отстраненно, слегка сдерживаясь, но в то же время пронизанный удовлетворением и, прежде всего, ликованием. Такое хвалебное замечание он мог произнести только в подобном контексте, так как испытывал глубокое уважение к “целям”, которые ставили перед собой окружающие его люди. Он радовался, точно так же, как радовался за меня до смерти Марчелло, когда я еще был более активным и целеустремленным; и когда он делал такое заявление, в его тоне сквозила доля удивления, как будто свершилось что-то неожиданное. “Неожиданное” не было, пожалуй, самым

подходящим словом, потому что я был уверен, что Бруно никогда не забывал о целях Эндрины, и что, скорее, просто не говорил о них ни с ней, ни с кем-либо еще из уважения, из сдержанности, считая их настолько важными, что не стоит пачкать их повседневными рутинными словами. По этой причине такой тон передавал ощущение, что произошло что-то “неожиданное”.

Затем разговор сразу же изменился, когда Бруно спросил:

- В конце концов, когда же мы поженимся? Мы вечно откладываем то, что нам важно.

Я представил себе, как в тот момент мой брат барабанит пальцами по своему собственному предплечью или по любому предмету мебели, который попадется ему под руку, — движение, выражающее его нетерпение, его желание все контролировать.

Эндрина ответила:

- На самом деле, каждый из нас всегда настолько то погружен в работу, то в проведение досуга, что мы слишком редко останавливаемся, чтобы поговорить на важные темы. Как будто они нам наскучили, и мы хотим оставить их на потом.
- Возможно, так и есть, не могу тебе точно сказать, — ответил Бруно тоном, в котором не было особой уверенности.

На несколько мгновений наступила тишина, потом Бруно продолжил.

- Я не думаю, что дело в том, что каждый из нас поглощен своими собственными делами. Это отчасти верно: нас увлекает наша работа, но если в последние недели мы уклонялись от этой темы, то в основном потому, что не можем прийти к единому решению. Нам не приходит в голову никакой выход. И это, по крайней мере меня, обескураживает, потому что я не выношу оставлять разговоры незавершенными, не могу смириться с тем, что может существовать проблема, которую, возможно, я не в состоянии решить.

- Да, я знаю. Я понимаю, что ты такой по характеру. С другой стороны, что же делать, если ты хочешь сочетаться браком, завести детей и создать семью, а я, наоборот, дорожу своей свободой и испытываю отвращение к идее приводить в мир потомство? Что же придумать? А может, и ничего, мы должны начать принимать то, что мы разные, — продолжила она. — Кроме того, мы уже не раз обсуждали это.
- Что...? И что тогда?
- А что тогда? — произнесла с нажимом Эндрина.
- Ничего, просто мне бы хотелось, чтобы это было не так, и мне сложно принять, что это так, — заключил мой брат упрямо, вероятно, раздраженный ситуацией.

Они прервались. Затем Бруно опять завел разговор:

- Неужели для тебя так отвратительна идея иметь детей?

Эндрина начала объяснять:

- Я вовсе не питаю отвращения к этой идее. Просто, в отличие от тебя, я не чувствую в этом необходимости, это не входит в мои жизненные планы, и я не хочу идти на компромисс в этом вопросе. Есть люди, которые испытывают желание иметь детей, а есть те, кто не испытывает. И это не значит, что последние хуже первых, ни в коем случае.
- Я никогда так не говорил.
- Да, возможно, ты этого не говорил, но ты не можешь понять, что существуют люди, которые думают иначе, чем ты. Для тебя это немыслимо, потому что ты никогда не поставил бы под сомнение, что твое видение мира может быть самым лучшим, самым разумным и самым мудрым.
- Не то чтобы лучше, у меня просто другое видение мира, и все. У меня возникает врожденное желание иметь семью и передавать свою любовь

детям, как это делали мои родители со мной, с Адрианом. Понимаешь? В конце концов, речь идет лишь о том, чтобы продолжить эволюцию вида, нет ничего особенного в этом желании.

- Может быть это и так, — девушка прервалась, а затем слегка горьким и раздраженным тоном добавила: — Кроме того, я не выношу социального давления, которое нависает над всеми нами и заставляет нас заводить детей. Все ожидают, что мы должны содействовать — создать семейную ячейку и найти свое место в “каменных джунглях”. А я этого не хочу, и больше всего на свете я обожаю свою свободу. Обожаю ее. Я ценю ее больше всего, потому что мое нынешнее мировоззрение слишком пессимистично, недоверчиво, скептически, чтобы думать о детях. Понимаешь?
- Да, понимаю, тем не менее, считаю, что в жизни может быть место для всего: для собственной работы, личного успеха, личной свободы, а также для семьи, детей. Ты слишком поддаешься влиянию того, что общество требует или не требует, почему тебя это должно волновать? Ты не можешь позволить себе быть настолько зависимой от этого. Пожалуй, если бы мы жили на необитаемом острове, без общества и давления, ты тоже задумалась бы о детях.
- Да, возможно, в таком случае было бы иначе, — потом она добавила: — Как бы то ни было, учитывая текущую ситуацию, я не могу чувствовать себя по-другому; я отдаю приоритет своей свободе и желанию посвятить все свое время работе биолога. Не случайно я выбрала деятельность, результат которой зависит от меня, практически исключительно от меня. Это преимущественно автономная работа, так что я отвечаю за победы и поражения.

Опять повисло долгое молчание. Бруно первым нарушил его, возразив:

- Ты не считаешь свое решение немного эгоистичным?
- В каком смысле? С точки зрения чего именно?

- В смысле стремления делать мириады выводов о нашем современном мире, категорично отнимать у другого человека возможность родиться, жить, лишь из-за твоего текущего недоверия к человечеству. Я понимаю тебя, но только до некоторой степени. И мне кажется, что ты все несколько преувеличиваешь.
- Возможно. Однако у тебя тоже есть глаза, чтобы читать газеты и видеть, что происходит в мире изо дня в день. И я просто пришла к выводу, что придавать такое большое значение людям, привязанности — не стоит. Я считаю, что можно обрести намного больше удовлетворения и почитания, если каждый сосредоточится на своей собственной деятельности и на тех целях, которые ставит перед собой.
- Но ведь одно, как мне кажется, не препятствует другому. Ты не согласна?

Эндрина завершила разговор, утверждая:

- И все же, в каком-то смысле, да, потому что строить свою жизнь вокруг людей, которые тебе дороги, — это смелость, так как всегда есть вероятность, что в любой момент они могут разочаровать тебя. Тогда как если фокусировать свою жизнь на личных целях, на тех задачах, которые хочешь решить, то ты полностью перекладываешь ответственность на себя, а это, на мой взгляд, только преимущество. Кроме того, ничто не приносит мне такого счастья и ощущения полной самореализации, гордости за достигнутые результаты, как моя работа.

Бруно замолчал, возможно, не зная, что ответить, и надолго погрузился в задумчивость. Я даже подумал, могло ли такое замечание Эндрины — которое не означало ничего другого, как то, что она считала свою работу важнее моего брата, — обидеть или огорчить Бруно; или же он сделал все возможное, чтобы не падать духом, и просто заявил самому себе: «То, что Эндрина такая, что, в общем-то, я и так уже знал, — не проблема для меня, я принимаю это, так же как она принимает мое видение вещей и не пытается меня изменить. Я все равно ее люблю».

Это были лишь мои предположения, так как я не имел ни малейшего понятия, насколько такие разговоры застают Бруно врасплох, или они для него привычны. Спустя некоторое время я заснул, и я не смог бы сказать, был это конец разговора между Эндриной и моим братом или же было продолжение. В любом случае, я проснулся посреди ночи, встал и направился на кухню в поисках чего-нибудь попить. И вот тогда я увидел Бруно в гостиной, устроившегося на диване, а фоном шел какой-то фильм.

- Ты в порядке? — спросил я.
- Да, более чем. А ты? — ответил он.

Я кивнул в знак подтверждения, и подошел к нему.

- Какой фильм смотришь? Приключенческий? Или про выживание? — спросил я с намеком на сарказм, потому что мне быстро стало ясно, что речь шла об ограниченной группе выживших, пытающихся спастись после авиакатастрофы.
- Да ничего не смотрю, ерунда какая-то идет... — был лаконичный ответ. Затем Бруно добавил: — Не мог заснуть, поэтому пришел сюда.

Лицо моего брата действительно казалось уставшим, разочарованным, возможно. Темные круги выделялись на его светлой, немного бледной коже. «Разочарование в чем? — не мог не спросить я себя. — В менталитете Эндрины, характеризующемся недоверием и подозрительностью? Или в покорности и принятии, которые ему пришлось навязать самому себе?» Я не смог найти ответа. Или, возможно, это было просто разочарование маленьким обществом, которое он построил вокруг себя, людьми в целом и невозможностью найти что-то, что удовлетворило бы его полностью.

Как будто в течение бесконечного множества лет он искал что-то, что могло бы принести ему счастье, и никогда ему не удавалось это найти или удавалось, но не до конца. В ту минуту я подумал, что Бруно на самом деле не был счастлив. Тем не

менее, я также подумал, что если в этот момент он позволил себе на мгновение побыть в недоумении и унынии, то на следующий день он снова почувствует себя "счастливым", как обычно, и сделает так, что весь этот внутренний дискомфорт, который я мог тогда созерцать, исчезнет.

«Неужели для него позволить себе чувствовать себя плохо так унижительно?» — помню, размышлял я. Тогда я слегка покачал головой, озадаченный и в то же время смирившийся с характером моего брата, или, вернее, с тем, что он считал важным: не показываться в плохом настроении в присутствии других людей, не позволять себе падать духом, всегда придерживаться своих привычек, почти любой ценой.

В любом случае, следует отметить, что настоящий приступ плохого настроения у него могла бы вызвать только проблема, связанная с чем-то значимым для него, то есть с его целями. Но тогда ему хватило бы такта разозлиться в одиночестве. Я был уверен, что если у него что-то пойдет не так в течение рабочего дня, он проведет всю ночь без сна в поисках решения, заикливаясь, обвиняя себя, почти паникуя, требуя самого лучшего от себя. И все его спутники: предметы, занятия, люди, желания, надежды и чувства, которые он носил с собой, пусть даже в такие отрезки времени они не переставали быть для него важными (ведь он был ответственным человеком), — он все же старался держать подальше от себя, с большой осторожностью, чтобы все прошло незамеченным. Если жизнь без страданий была практически невозможной, Бруно стремился ее изобрести.

Без вариантов, в то воскресенье мы все встали поздно. Бруно и Эндрина, впрочем, встали чуть раньше меня, и когда я зашел в кухню позавтракать, мой брат уже успокоился, а точнее, он себя заставил. Смеясь, он рассказывал своей невесте сон, который видел ночью.

- Я видел во сне, что изменяю тебе. Ну и бессмысленные же у меня сны! Самое смешное, что я изменял тебе с тобой, не с какой-то другой девушкой. Иными словами, в моем сне было две Эндрины. Это было невероятно, как будто я был лишен возможности сбежать.



В течение последующих недель не происходило ничего нового, ни каких-либо неожиданных событий, вообще ничего. Время текло монотонно. Маршрут, которым я ходил до работы, всегда оставался одним и тем же, и лица, которые я встречал, были обычными. Появилось ощущение, что вся жизнь сводится к перемещениям людей, снующих по улицам то в одном направлении, то в другом, выполняя сначала одни действия, затем другие. Я сам был частью этих рутинных перемещений, но одновременно оставался отстраненным и равнодушным к этому окружающему равнодушию. Я чувствовал себя чужим ко всему. К этому озеру, к этим горам, к этому снегу, который лежал на склонах. Как будто это было озеро, рядом с которым я рос с самого рождения, но так и не смог сжиться с ним.

Хотя боль была такой же, как всегда, эти дни были особенно грустными. Это ухудшение не объяснялось никакими видимыми причинами. Просто ощущалось, как день ото дня все тяжелее становилась мысль о продолжении двигаться дальше.

В один такой вечер, после рабочего собрания, я остался в компании моего директора. Он никогда не был одним из тех чрезмерно нетерпеливых людей, вечно озабоченных своими делами. Напротив, хотя он не был разговорчивым человеком, он все же позволял себе несколько коротких перерывов и с удовольствием обменивался парой слов с коллегами. Он определенно не видел необходимости отказывать себе в общении.

- Пойдем выпьем кофе? — воскликнул он.
- Хорошо, — ответил я инстинктивно, почти не задумываясь.

Позже он завел разговор на случайную тему о своей жизни.

- Я не тороплюсь домой, — начал он. — Меня никто не ждет. Мой сын уже вырос и живет отдельно. А с женой мы уже два года как развелись. Но ты не думай, будто это горькая ситуация для меня. Я вполне способен ценить мое

одинокость, скорее всего, это то, что я больше всего желаю, так как уже не в состоянии жить с кем-то, а любить — еще меньше. Я абсолютно осознаю это.

Несколько мгновений спустя он снова заговорил о своей жене.

- Я поддерживал хорошие отношения с Терезой. На прошлой неделе она даже сообщила мне, что планирует совершить туристическую поездку в... Я и не помню, в какую страну. Она купила билет и собирается уехать через несколько недель. Возможно, такие почти спонтанные путешествия в пятьдесят лет помогают ей привнести смысл в ее жизнь, забыть, что она стареет, и что ни она, ни я никогда не были молодыми духом. Тереза отказывается принять реальность. Я, напротив, пусть и не могу сказать, что мне нравится то, какой я есть, у меня, по крайней мере, хватает смелости признать, что в моей жизни никогда не было никаких мечтаний, что я всегда стремился к спокойствию.
- Ты не доволен тем, кем являешься? — спросил я с легким любопытством.
- Нет, конечно же, не доволен. Почему бы мне быть довольным?

Мы молчали несколько мгновений.

Наконец, не слишком удивленный его ответом, я позволил себе спросить:

- Почему тогда ты никогда не пытался измениться, если тебе не нравится то, кем ты сейчас являешься?
- Даже я сам этого не знаю. Полагаю, я не против продолжать так. Возможно, я равнодушен к понятию «нравлюсь я себе или нет», оно не так важно. Осознание своего цинизма и равнодушия не обязательно означает, что у тебя есть воля измениться, сделать что-то лучше.
- Понимаю, — ответил я кратко, хотя на самом деле не совсем понимал.

У меня было впечатление, что в моей голове царил это вечное состояние растерянности: склонность к тому, чтобы позволить людям быть такими, какие они

есть, чередовалась со скрытым и необъяснимым желанием заставить их стараться быть лучше и совершенствоваться. Вероятно, поэтому, несмотря на то, что я восхищался искренностью моего начальника, я не мог понять это некое состояние инертности, покорности, если можно так выразиться, поскольку он выглядел не как покорный человек, а скорее как человек, довольный своим “ничем”.

В тот вечер я не был особенно склонен к диалогу и позволил директору вести разговор, выбирать тему, которая ему больше нравилась. Он снова начал говорить.

- Мне все равно, нравлюсь я себе или нет, потому что равнодушие всегда было главной чертой моей жизни во всех ее аспектах, не только в моем характере и поведении. Все, чем я занимался на протяжении жизни, протекало практически само по себе — уже имело свою форму, а я просто присутствовал в этом, — он сделал паузу и продолжил: — Безусловно, я мог бы похвастаться тем, что у меня было много хорошего: вырос в относительно сплоченной и образованной семье (все мы получили дипломы), окончил университет с отличием, работаю и руковожу издательством, основанным моим дядей, многие годы. В конечном счете, моя жизнь состоит в том, чтобы продолжать дела, начатые моими родственниками, или идеи, типичные для моего окружения. Многие бы хвастались тем, что у них все это есть, а я не хочу, не вижу причин. Все, чем я “владею”, я получил, почти не прилагая усилий. Конечно, чтобы получить диплом с отличием, нужно было провести огромное количество часов за книгами, но это было лишь вопросом вложения времени, дисциплинированности и порядка. И уж точно речь не шла о борьбе за что-то лучшее, что-то новое, что-то свое. Я никогда не испытывал такого желания.

Директор молчал несколько минут. Он делал вид, что следит за новостями по телевизору, а я время от времени смотрел на него, меня не волновало ни мое, ни его молчание.

- Я вхожу в число тех немногих людей, кто не испытывает ужаса перед смертью, — произнес он совершенно спокойным тоном, почти рассеянно,

даже не глядя на меня, а лишь на несколько мгновений задержав взгляд на своей чашке кофе.

«Действительно ли он имел в виду то, что говорил? Его цинизм позволяет ему выражаться с такой непринужденностью?» — подумал я про себя.

Директору не было известно, что год назад я потерял своего самого близкого друга; а если бы он знал, сомневаюсь, что позволил бы себе такое замечание, ведь он всегда был осторожным, относительно сдержанным человеком.

- К чему этот комментарий? — спросил я.
- Не знаю, почему именно сейчас мне пришла в голову эта мысль. Возможно, из-за наблюдений за небольшим количеством людей, которые нас окружают, за официантом, вынимающим пробки из бутылок, за экраном телевизора. Мне кажется, что действительно немногие люди, когда им приходится принимать решения — независимо от того, являются они важными или нет, — учитывают также фактор смерти и то, что рано или поздно мы все умрем. Об этом не думают, живут так, будто мы бессмертны, — он сделал паузу. Затем продолжил: — И когда теряешь близкого человека, сначала впадаешь в отчаяние. Что ты чувствуешь на самом деле? Страх, что больше никогда не сможешь увидеть этого человека? Боль из-за того, что он ушел из жизни? Все версии правдоподобны. Тем не менее, мне кажется, что большая часть страданий, которые испытывают люди в таких обстоятельствах, связана с тем, что мы обманываем себя, что бессмертны и не готовы встречаться со смертью кого-то другого и с нашей собственной смертью. Понимаешь? Эта неподготовленность, это постоянное избегание темы приводит к тому, что перед смертью мы чувствуем себя захваченными ужасом, вызванным чем-то, что как будто бы не должно было произойти, что чуждо нам.

Поскольку я знал его уже много лет, я помню, что не удивился, услышав эти слова. Он продолжил:

- Я пытаюсь выразить, что страдание, которое мы испытываем, зависит также от того, как мы относимся к вопросу смерти, от значимости, которую мы ей придаем. Я, например, рассматриваю ее не как нечто чрезмерно важное, а скорее как что-то абсолютно нормальное и предельно простое, от чего мы не можем уклониться и что мы должны принять, так же как мы должны соответствовать ко многим другим условиям жизни. Я не утверждаю, что не чувствую боль при потере тех, кого люблю, а скорее говорю, что я абсолютно способен контролировать себя, управлять ситуацией с огромным хладнокровием и самоконтролем.
- Понимаю.

С того момента, как мы покинули издательство, я все время повторял это «понимаю» и не усложнял себе жизнь, а в действительности не понимал и не соглашался с концепциями, которые он пытался изложить мне. Признаюсь, все мне казалось таким человеческим и одновременно бесчеловечным. Позже, охваченный всплеском нездорового любопытства и тревоги, я спросил:

- Так значит, смерть кого-то, по твоему мнению, не так болезненна, если мы к ней готовы?
- Да, именно так, — согласился он, радуясь, что я правильно понял его слова.
- Как же можно не считать смерть важной темой? — настаивал я.

Директор, возможно, почувствовал, что я начинаю неправильно истолковывать его речь и считать ее чрезмерно бестактной. Тем не менее, спокойно и с присущей ему терпимостью ответил:

- Пожалуйста, не искажай мои слова, Адриан. Я никогда не утверждал, что смерть следует воспринимать легко. Я скорее утверждаю, что привыкнуть к ней невозможно, даже частично. Если бы это случилось, это означало бы потерю нашей человеческой чуткости. Я лишь сказал, что это реальность, которую мы должны принять и существование которой мы должны осознать

с самого начала. Жизнь также состоит из жестокости, и бессмысленно и тщетно пытаться забыть, преувеличивать или преуменьшать этот факт.

Он на мгновение замолчал. Затем слегка помахал руками, в равномерном и ритмичном движении, как бы показывая этим жестом, что единственная ясность и рациональность, доступная нам, заключается в умении принимать жизненные условия. Или, возможно, это было всего лишь мое впечатление от его движения рук, и я трактовал его по-своему.

Затем он продолжил:

- Каждый страдает по-своему, реагирует на потерю близкого человека так, как пожелает, и принимает меры, которые считает целесообразными. Есть даже те, кто решается на самоубийство, когда жизнь сталкивает их с невыносимыми горестями. Более или менее взвешенно, каждый вынужден принимать решения, — он сделал паузу. Едва заметно покачал головой, будто слегка озадаченный, и заключил: — Принятие смерти дает нам возможность принимать решения со взвешенностью, в том числе и радикальные. Вот что я хотел выразить, и к этому я стремлюсь.

Он замолчал и перевел взгляд на людей, беседующих поблизости, отвлекаясь. Директор выражал одновременно равнодушие и терпимость. Было очевидно, что ему больше нечего было добавить, и я размышлял о том, что он только что сказал: «Я полагаю, директор опасается, что боль, которую причиняет тебе утрата, может смешаться с более обширным страданием по отношению к жизни в целом, которое переполняет тебя, отрывает от реального, от земного». По крайней мере, так я истолковал его речь.

Однако я понимал, насколько неспособен принять эту концепцию, поскольку чувствовал полное отчаяние относительно всего, что могло быть связано с земной жизнью, в практическом смысле этого термина. Я не мог принять смерть, а тем более жизнь, мне нужно было обманывать себя, что может существовать что-то выше всего этого. Мне казалось, что если траур воспринимается исключительно

как глубокая земная боль, то это приводит к потере его значения, его серьезности. И не только серьезности, но, возможно, и его идеальности. Смерть обязательно должна быть возвышенным явлением, в противном случае все было бы лишено смысла для меня, и жизнь просто текла бы в гниение.

«Может ли быть, что мой образ поведения и восприятия мира слишком похож на уловку, цель которой — притворяться и обманывать себя в том, что жизнь отличается от того, чем является в действительности? Неужели такое притворство — единственный способ сделать жизнь менее неприятной и отвратительной? И отчего то, что мне ненавистно, становится более приятным только когда я воспринимаю его отстраненно? Почему я так желаю прожить земную жизнь, но при этом всегда оставаться на сотню метров выше нее, как будто нужно было наблюдать за ней издали, с отстранением и никак иначе? Как может быть, что я не способен принять то, что нам дано, и постоянно желаю чего-то более совершенного, более идеального?» — размышлял я.

Директор допил свой кофе. Он был спокоен, ни на что в особенности не смотрел. Он не торопился домой и создавалось впечатление, что хочет просто прожить время, чем-то его заполнить, как-то переждать.

Поглядев на директора, я задался вопросом, что может означать скука для такого человека, как он. Может быть, она для него не существует? Возможно, он никогда в своей жизни не испытывал этого ощущения? Я не был уверен, каким мог бы быть правильный ответ, и ничего не сказал на эту тему. Немного позже я снова спросил его о смерти:

- Какова взаимосвязь между смертью и страданием?

Он на мгновение взглянул на меня с интересом и одновременно с непониманием, затем снова отвел взгляд.

- Боюсь, я не понимаю вопрос, — сказал он.
- Существует ли взаимосвязь между этими двумя вещами?

Директор покачал головой, все еще не понимая моего недоумения. Тогда я продолжил объяснять:

- Со всей определенностью, смерть можно назвать "местом" наибольшего страдания. Мысль о прекращении существования, растворения в небытии, отсутствии, пустоте, несомненно, является концепцией, наиболее сложной для нашего понимания. И, по крайней мере для большинства людей, это самое ужасное.
- Предполагаю, что так оно и есть, — подтвердил директор, слегка кивнув.
- Это самое ужасное, потому что означает максимальное страдание, непонимание. В течение жизни мы можем страдать по разным причинам, но смерть заставляет нас содрогаться больше всего. Ведь это что-то, что находится за пределами всего, даже за пределами самого страдания. И уважение, которое мы должны к ней проявлять, должно проистекать не столько из горя, которое она вызывает, сколько из ее важности, — сделав паузу, я закончил: — Понимаешь?

Директор начал улавливать ход моих мыслей.

- Значит, для тебя смерть имеет особое, возможно, абстрактное и, несомненно, этическое значение, которое выходит за рамки всего остального. С моей точки зрения, смерть и боль — две взаимосвязанные вещи, легко сопоставимые. Но я не считаю, что смерть должна быть худшим из зол в этом мире или тем, к чему следует проявлять наибольшее уважение. Понимаешь?

Озадаченный, я не захотел отвечать ничего конкретного. Тогда директор продолжил:

- Думаю, некоторые люди преувеличивают значение, которое придают смерти, просто потому что она неизбежна. Несомненно, она — прискорбное явление. Однако существует множество зол, и нам приходится сталкиваться с ними



на протяжении всей жизни. Говоря очень практично, может быть, даже прагматично, я считаю, что важнее искоренять жестокость, с которой человек встречается и которую проявляет по отношению к другим в течение жизни. Иметь возможность жить в мире без зла, полагаю, важнее, чем придавать высшее значение смерти — последнему страданию, с которым нам предстоит столкнуться.

Тогда директор замолчал. И если я мог разделить его мнение о необходимости искоренить все зло в мире, то с его интерпретацией смерти как «простого и последнего страдания, с которым мы все должны столкнуться в конце нашего пути», я согласиться не мог.

Вскоре мы попрощались.

На следующий день, кроме мелких повседневных забот, не произошло ничего необычного. В последнее время Джованна часто возвращалась с работы поздно или просто навещала свою сестру, утверждая, что время, проведенное рядом с ней, приносит ей пользу и, прежде всего, помогает сохранить настроение стабильным и не позволить панике овладеть ею. Мое присутствие беспокоило ее, тревожило незнание того, как принять то, что я был огорчен потерей друга и, возможно, самим существованием.

Я понимал, что этот год, должно быть, был для нее своего рода пыткой, поскольку она постоянно то переживала моменты страха, когда умоляла меня попробовать постепенно вернуться к норме, чтобы я не забывал о ней, то убегала к сестре, когда уже была не в силах выдержать происходящего, или усердно занималась своей работой, пытаясь таким образом отстраниться от всего и всех, отбросить любые мысли, которые могли бы вызвать у нее печаль или излишнюю тревогу. Она говорила, что ей нужно немного уделить внимание себе, убежать, иначе она потеряет рассудок.

- Ты не возражаешь, что я провожу время сама с собой? — спрашивала она меня время от времени, возможно, чувствуя себя виноватой за свои продолжительные отлучки. И я с легким равнодушием или даже безразличием отвечал:
- Нет, все нормально, не стоит беспокойства.

Или, возможно, если я отвечал таким образом, то только из покорности и эгоцентризма. Какой термин более уместен в этом контексте, я не был уверен, и, если честно, возможно, даже не особенно интересовался — я не хотел об этом думать.

В ту ночь, вернувшись домой, Джованна казалась взволнованной. Она слегка покачала головой с недовольством, после чего начала говорить о людях в общем, как будто она имела в виду существ, живущих на другой планете.

- Мир становится все более запутанным, и, конечно, я не говорю о чем-то абстрактном или философском, скорее о том, что я наблюдаю каждый день, в том числе, когда имею дело с коллегами по работе. — Затем она продолжила: — Однако они лишь один из примеров, потому что мир в целом функционирует на основе групп, сформированных по различным признакам и тщательно организованных, — она замолчала, а потом добавила: — Я говорю банальности, не так ли?
- Да, но, как ни банально, жить в группах — это сегодняшняя норма.

Джованна продолжила:

- У меня создается впечатление, что большинство людей, на какую бы тему они ни говорили, не способны быть честными и выражать свои мысли, свои мнения, оставаясь верными тому, что они действительно думают. Кажется, что любая произнесенная фраза всегда претерпевает изменения, в том смысле, что она уже не совпадает с тем, что у нас в голове, в нее добавляется информация или упускаются определенные детали.

- Это правда.
- Это делается исключительно для того, чтобы повлиять на других, чтобы косвенно убедить их изменить свое мнение, вероятно, потому, что у нас, у каждого, есть четкое представление о том, как правильно смотреть на вещи, и мы постоянно стремимся убедить других быть ближе к нам. Не так ли? Люди не способны просто поговорить: изложить свои собственные идеи, не пытаясь все время кого-то в чем-то убеждать, — говорила Джованна с жаром: - Это бесконечное “опускание правды”, с одной стороны, имеет преимущество, так как позволяет привлечь больше людей в нашу группу, но в то же время разрушительно, поскольку никто никогда не узнает мысли других людей, и таким образом не создается ничего, кроме “комплексов, основанных на лжи”, разбросанных по всему миру.

Я ограничился тем, что сказал ей, что согласен с ее словами. Она продолжила:

- Да, с одной стороны, формируются эти “группы единомышленников”, которые обманывают себя, думая, что видят мир одинаково, с другой — они тяжело работают над тем, чтобы постоянно осуждать других, чтобы никто не посмел даже помыслить о побеге из группы. Таким образом, создается сплоченная сеть людей, которые судят других и в то же время максимально заботятся о том, чтобы не быть осужденными в свою очередь. Я понятно излагаю?

Я кивнул. Она продолжила развивать мысль:

- Судить — это чрезвычайно вредно, губительно, так как это не что иное, как способ контролировать и доминировать над группой людей, потому что бесспорно, что любой человек, чтобы не быть осужденным, склонен приспособиться к тому, что считается “стандартом”, и предотвратить любую оценку, будь она положительная или отрицательная.

Она задумалась на мгновение, затем с легким отвращением заключила:

- Это сравнимо с безграничной, несоразмерной силой, способной все запутать. И поскольку никто не воздерживается от того, чтобы судить других или все, что попадает под руку, общество всегда будет сохранять свою форму непрекращающегося вихря, из которого невозможно выбраться, называемого “призывом к вынесению приговора”.

Речь, которую она произнесла, вызвала во мне любопытство. Я был уверен, что с рациональной точки зрения она была права. Фактически я неоднократно выражал согласие с ее мнением. Но в глубине души, как бы я ни ценил тех, кто способен отличать суждение, навязывающее свою волю другим, от оценки, которая означает ограничиваться анализом предоставленных данных и принимать соответствующие решения, не мешая другим, я также осознавал, что ни Джованне, ни мне не удастся быть людьми, которые оценивают, и мы скорее относимся к группе судей.

Тем не менее, поразмыслив, как бы неприятно мне ни было признавать, что так оно и было, может ли быть, что я в глубине души гордился этим?

Потом мы замолчали. После ужина тревожность Джованны обострилась, и несмотря на позднее время, она сказала мне, что собирается прогуляться. Она вежливо попросила меня не сопровождать ее, заверив, что скоро вернется и ей станет лучше. Когда она вернулась домой, казалось, что она стала спокойнее, хотя ее лицо выражало серьезность и напряжение больше, чем обычно.

- Можем поговорить? — начала она.

- Да, конечно.

Прежде чем она произнесла то, что хотела сообщить, прошли долгие моменты напряженного молчания, пронзенные беспокойством, неловкостью или даже раздражением. Возможно, нам обоим хотелось оказаться в другой ситуации, чем та, которая разворачивалась вокруг нас, или точнее, с другими людьми. Обоим нам требовался покой, мир, чтобы оставаться забытыми всеми в своей личной вселенной, в своих мыслях.

- Я пришла к выводу, что мне нужно действовать, я не могу дальше находиться в таком состоянии, это пытка. Мое психическое здоровье просто не выдерживает этого. Эта ситуация уже слишком давно потеряла всякое подобие логики, — заговорила она в смятении, возможно, даже с легким презрением. Она замолчала, а вскоре добавила: — По правде говоря, я уже даже не уверена, что логично, а что нелогично. Мне трудно определить, на чьей стороне правда — на моей, на твоей или, может быть, ни на одной из них. Единственная концепция, которую я могу воспринять в данный момент, заключается в том, что когда переходишь определенную границу, не так уж неуместно сосредоточиться только на том, как стать лучше и какой контекст может принести тебе пользу, любой ценой. Каким бы ни было решение, способное принести тебе облегчение, оно должно быть воплощено в жизнь.

Стремясь стряхнуть с себя груз, Джованна говорила так, словно ей предстояло объявить не слишком радостное решение.

Не стоит и говорить, что я не испытывал желания возражать против ее слов. Я просто позволял девушке высказать свои выводы. И с глубоким равнодушием я ограничил мои мысли тем, что, что бы она ни сообщила мне, если это действительно могло облегчить ее мучения — на мой взгляд, такие бесполезные и детские, — я бы постарался порадоваться за нее. Она вздохнула, собралась с силами больше, чем с мыслями, и уточнила свои намерения.

- Я уже говорила тебе, что несколько недель назад мне предложили заняться геотермальной энергетикой в...?
- Да, ты уже рассказывала об этом раньше, — сказал я и добавил: — Ты решила принять предложение?
- Как ты знаешь, у меня было две недели, чтобы дать ответ. В эти дни, признаюсь, я тщательно обдумала все и теперь, как никогда прежде, ясно понимаю, что мне нужно делать, — Джованна говорила решительно, но в ее

тоне сквозила дрожь, наводящая на мысли, что она сдерживает слезы. Затем она заключила: — Я соглашусь и перееду работать на север.

Я слегка покачал головой в знак одобрения. Помню, что не мог чувствовать себя удивленным, поскольку этого я ожидал уже несколько дней.

- Неужели тебе нечего сказать? — спросила она укоризненным тоном.
- Да, видимо, так и есть, — ограничился я ответом.

Я не желал углубляться в разговор такого рода. Сказанное ею показалось мне достаточно ясным, и я это принял, или даже больше, предложение Джованны казалось мне чем-то почти благоприятным для нас обоих. Но разве хватило бы у меня смелости открыто признаться в этом тогда или в любых других обстоятельствах в будущем? Не думаю, моя гордость мне этого не позволит. Возможно, у всех нас есть часть себя, которую мы не хотим принимать и существование которой не хотим осознавать.

Повисла продолжительная тишина; она тяготела над нами, погруженными теперь в другие размышления или, возможно, в отсутствие мыслей. Это было неважно. Если когда-то чувство объединяло нас, то события последнего года с той же силой нас разъединили. И то настоящее, было очевидно, нас больше не интересовало, оно относилось к моменту, который принадлежал не нам, а жизни, обстоятельству существования, которое, почти по несчастливой случайности, нам пришлось прожить.

Расползающийся полумрак, слабый свет луны, та бесконечная тишина окружали меня, но не принадлежали мне. Все было мне чуждо и казалось мимолетным.

Прошло несколько минут. После этого Джованна спокойно возобновила разговор, а я, стараясь вернуться к той ситуации, которая вырисовывалась перед моими глазами, слушал ее. «На нее не похоже оставить меня без разъяснений, что ж, это было ожидаемо. Она всегда должна представлять обоснование всего, даже если в этом нет необходимости, а также убеждаться, что в любом ее решении есть

логика», — подумал я про себя. «Тем не менее, возможно ли, что она не может понять, что я вовсе не нуждаюсь в том, чтобы она объяснялась со мной?» — заключил я, слегка раздражаясь.

Она начала говорить:

- Помимо того, что я чувствую себя обязанной принять эту решительную меру по очевидным причинам (прежде всего, для моего блага), я не считаю, что это выбор, лишенный логики или морали. Мне предложили выгодный контракт, лучше текущего. Кроме того, таким образом у меня будет возможность внести свой вклад в дело, которое мне дорого, продолжать заниматься работой, которая меня интересовала еще со времен университета и которая, без сомнения, приносит что-то полезное в наш современный мир, — утверждала она, а затем добавила: — Заниматься работой, способствующей прогрессу знаний, — это этично. В определенных случаях отдать этому приоритет перед другими аспектами жизни — благородно. Я считаю, что наши чувства могут подождать. Более того, это даже сможет их укрепить, потому что в будущем мы будем знать, что приняли этичное решение, и сможем считать себя лучшими людьми.

Утомленный ее речами, я продолжал молчать. А Джованна разошлась:

- Кроме того, имей в виду, что я уеду не так далеко, буду всего в двух часах езды. Мы сможем видеться время от времени. Я уверена, что это отдаление пойдет мне на пользу, принесет немного покоя, поможет сосредоточиться на других мыслях. И когда мне станет лучше, будет легче уладить любые проблемы, которые могли бы остаться между нами. Сейчас я чувствую, что у меня не осталось сил, и, как бы я ни хотела, я не в состоянии помочь тебе.

Я больше не проронил ни слова. Возможно, для меня уже было очевидно, что с отъездом Джованны мы будем все больше отдаляться друг от друга, вероятно, безвозвратно. Я больше не хотел придавать этому значения и просто думал, что в

течение нескольких месяцев сама Джованна осознает, что я ей больше не нужен, и, вероятно, она мне тоже.

«Очевидно, что если бы Марчелло не умер, нам никогда не пришлось бы вести этот неприятный разговор. Как вообще возможно, что определенные события в окружающем нас мире могут иметь такие значительные последствия для нашей личной жизни? Об этом ли думает Джованна? Считает ли она, что вина лежит на Марчелло, а не на мне или на ней? Может быть, она в конечном итоге начнет ненавидеть его?» — помню, я мельком подумал тогда. А спустя некоторое время я окончательно забыл об этой теме.

Долгое время той ночью я не мог заснуть. Не столько из-за того, что меня преследовали разные мысли, сколько потому, что сон казался мне чем-то таким назойливо реальным. И мне было трудно его принять.

В следующие дни Джованна приняла более приветливое и понимающее поведение, чем обычно. Однако это не особо у нее получалось. Было видно, что оно было напускным, искусственным. К счастью, так было только в первые дни после ее решения переехать, постепенно она, как и я, становилась все более холодной и отстраненной. Пожалуй, это было следствием того, что ее решение обретало конкретность, что оно превратилось в нечто более близкое и реальное, а не просто в абсурдный и напрасный мираж. Она сдерживала себя, старалась выглядеть как можно более непоколебимой, возможно, желая сыграть роль внешне решительного человека, который сталкивается с жизненными невзгодами и с содроганием вынужден принять решение, намереваясь устранить постоянное состояние беспокойства, в котором пребывал, а также, возможно, чтобы дать мне время преодолеть скорбь.

Со своей стороны, мне было наплевать как на ее сентиментальность, так и на ее решительность. Неужели боль, которую я испытывал, сделала меня "невозмутимым" до такой степени?



Я помню, что тогда мне было приятно обманываться, что все находится под контролем моего разума и что любое мое слово, поведение или жест я бы смог объяснить или даже оправдать.

«Но, по сути, как много выборов я действительно мог сделать? Или, наоборот, настолько я был вынужден просто следовать своему внутреннему «я»? Может, дело в том, что я никогда не мог ничего выбрать? Разве мне была дана возможность сбежать от самого себя или от того озера, которое скрывалось среди гор?» — спрашивал я себя. Между тем, покорность все больше овладевала мной. И с таким настроением покорности и, возможно, легкой иронией я воображал, как Джованна, собираясь покинуть это место, подтвердит: «Конечно же, это мы сами выбираем, мы выбирали множество вещей на протяжении нашей жизни». Потом она добавит: «Как может быть, что ты никогда не испытывал потребности сбежать от этого озера? Пойти искать жизнь в другом месте, в каком-то отдаленном уголке нашей планеты, не таком, к которому мы привыкли? Меня пробирает дрожь от твоего состояния покорности».

Лично я не мог бы согласиться с теми словами. И продолжал думать, что то, что нам было дано выбрать, было только сценарием — в смысле поверхностностью, а все остальное — нет.

Но помимо этих мысленных диалогов, которые я вел с Джованной или с любым другим случайным человеком, который мог оказаться передо мной, я чувствовал, что в моей голове, наряду с моими убеждениями, царило лишь постоянное ощущение неопределенности. И как бы твердо я ни верил в них, иногда я сомневался, что они могут быть не самыми правильными, не самыми лучшими. Я не мог не думать, что существовала возможность того, что в моем разуме обитала некая доля безумия, которое, гнетуще, превалировало над всем остальным.

Накануне годовщины смерти Марчелло по пути домой из издательства мне встретились брат и Эндринна. Вечер выдался холоднее обычного, на наш город уже опустился полумрак, и небо начало потихоньку чернеть. Мне почти казалось, что в тот вечер темнота хотела заставить себя ждать, а промедление было не более чем

хитростью, чтобы мы мало-помалу привыкали к этой окружающей нормальности. Конечно, это было только мое ощущение, не более.

- Адриан, добрый вечер, — начала Эндрина.

Несмотря на формальную иронию в ее приветствии, ее лицо выражало какое-то беспокойство.

Сначала я предположил, что, вероятно, у нее был не очень приятный рабочий день, возникли какие-то трудности. После того как мы поприветствовали друг друга, именно она начала рассказывать о своих проблемах, словно хотела сбросить с себя бремя.

- Не спрашивай, как у нас дела, потому что у нас нет особо приятных новостей, — она сделала паузу и добавила: — Лично у меня сегодня были только проблемы на работе. Всегда бывают осложнения. Сегодня мои коллеги умудрились вытянуть из меня последние остатки хорошего настроения, — она раздраженно покачала головой и на мгновение замолчала. Впрочем, это не было концом ее рассказа — было видно, что она хотела выговориться. — Вдобавок, пару дней назад умер мой дядя. В доме моих родственников поднялась небольшая суматоха, все были сильно потрясены этой внезапной потерей. Это стало для них ударом и, к тому же, все эти организационные моменты... — она не закончила предложение. Эндрина говорила в возбужденном тоне, вероятно, раздраженная и одновременно слегка огорченная этим нагромождением печалей.

Что касается меня, то я с моим обычным равнодушием, поскольку это были совершенно чуждые мне дела, ограничился тем, что выразил сожаление по поводу случившегося.

- Похороны состоятся завтра после обеда, — сообщила она.

На что Бруно кивнул, как бы подтверждая, что сказанное девушкой соответствует действительности. Возможно, он сделал это автоматически, инстинктивно, даже не

осознавая. Наблюдая за моим братом, мне казалось, что ему было все равно, как будто ни одна новость не могла его по-настоящему задеть или захватить. Смерть для него была просто одним из многих вопросов, с которыми нужно было разобраться, обсудить — и тут же забыть, как пустую формальность. Если бы он всерьез задумался о смерти, я был убежден, что это бы его травмировало, но так как ему важно было быть в порядке и здоровым, он позволял себе роскошь не обращать внимания на эту тему.

Возможно, он скорее чувствовал легкое беспокойство от того, что это не первый раз, когда его девушка разозлилась на своих коллег. Да и вообще, это мелочи.

Мой брат принялся говорить:

- Да, завтрашний день будет насыщен всевозможными обязанностями. Я заранее предупредил, что уйду с работы на час раньше, чтобы провести пару минут в доме родственников Марчелло на вечере памяти перед тем, как отправиться на похороны. Постараюсь сделать все возможное, чтобы вовремя успеть на оба мероприятия. С организационной точки зрения вечер обещает быть полным суеты. Но что же мы можем с этим поделать? В жизни не всегда есть возможность выбирать, и мы не можем отказаться от своих обязательств. Конечно, я не мог себе позволить искать оправдание, чтобы не пойти на вечер памяти, не говоря уж о похоронах. Мы — ответственные люди с принципами. Как обычно, я постараюсь угодить всем, или точнее, разочаровать своих близких как можно меньше.
- Да, конечно, — подтвердила Эндрина и добавила: — А вот я, боюсь, завтра пойду прямо на похороны, у меня нет времени, чтобы присутствовать на обеих церемониях, а уйти с работы раньше — исключено. После сегодняшнего спора с коллегами это немыслимо, — заявила она, а затем заключила: — К счастью, это последняя неделя, после которой я там больше не буду работать.

- Да, слава Богу, — подчеркнул Бруно. — Работать с некомпетентными людьми — настоящий кошмар. Я с нетерпением жду, когда Эндрина сможет начать свою новую работу и окажется среди больших профессионалов, чем сейчас.

Они продолжали разговаривать между собой на эту тему и лишь время от времени бросали на меня взгляды, как бы заставляя меня притвориться внимательным. Во время всего диалога я почти ничего не произнес.

Было уже совсем темно, фонари и вывески магазинов уже зажглись и тускло освещали улицу. Я задумался о том, что в течение последнего года часто употреблял слова "изменение" или "изменить". "Изменение" — это неоднозначное слово, которое каждый может позволить себе использовать в многочисленных контекстах, непохожих друг на друга, придавая ему значение, которое не обязательно было одинаковым. Возможно, большинство людей этим термином обозначают переход от одного состояния к другому, от одной ситуации к другой, в которой был добавлен или убран какой-то элемент или эмоция, словно некая трансформация.

Но что для меня означало "изменение"? Я обожал повторять фразу: «Жить — значит постоянно меняться», — и я был твердо убежден в этом. К тому же это казалось мне чем-то, что не зависело от меня, что я просто был вынужден принять как неизбежное условие жизни и ее вечное движение. Я никогда не стремился остановить этот поток или смягчить удары, которые жизнь наносит нам.

При этом, хотя я не противился этому "условию" и соглашался с ним, я понимал, что мне так и не удалось к нему приспособиться, и это оставалось лишь теорией. Это была невыносимая, удушающая теория, и, чтобы не позволять себе впадать в подавленность, я апеллировал к другой теории: той, которая основывается на ценностях моей совести и согласованности с самим собой. Следовательно, было не верно использовать термин "изменение", поскольку я только и делал, что терпел, терпел события, оставался дезориентированным и находился на грани краха, но

при этом цеплялся за свои ценности. Сталкиваться с изменениями для меня было самым невыполнимым из всего.

В этом году, безусловно, произошли изменения в моей жизни. Однако я склонен говорить не столько о трансформации, сколько об “остановке” или “замораживании”, поскольку все аспекты моего существования перестали меня интересовать (пожалуй, я сам себе навязал то, что так и должно быть), и я больше не мог придавать никакой ценности ни одному из них.

Что же меня побудило к этому перевороту в моей жизни, к тому, что я перестал придавать значение тому, что раньше я считал своим? Наиболее очевидной причиной была смерть моего самого близкого друга; но этого было недостаточно для оправдания отвращения, которое я начал испытывать ко всему, этого безудержного непримиримого отношения к парадигмам близких мне людей, которое так внезапно обострилось во мне.

Раньше я тоже всегда ориентировался на свои ценности, но никогда не защищал их с таким рвением, и, наконец, я понял, насколько это желание "заморозить" все, что меня окружало, вытекало из желания сохранить смерть Марчелло незапятнанной прикосновениями теорий других людей, которые мне казались тусклыми, почти оскорбительными — он был первым дорогим мне человеком, вырванным из моей жизни.

Его уход должен был сохраниться как что-то чистое, идеальное, и моя реакция была ни чем иным, как способом не поддаться пустоте жизни, следствием того, что происходило вокруг меня, чему я должен был противостоять, чтобы это отдалить.

Там, во время моей прогулки по берегу озера, мои мысли продолжали обращаться к прошлому. И когда я говорю о прошлом, я почти всегда имею в виду Марчелло, а иногда и саму смерть, воспринимаемую как абстрактное понятие.

Если потеря моего друга была болезненным опытом, который навечно оставил отпечаток в моей жизни, то, наблюдая за событиями того последнего года с привычным мне отстранением, я мог бы без сомнения утверждать, что смерть

Марчелло была чем-то настолько же совершенным, возможно, даже возвышенным, и идеальным. Если я относился к смерти с глубочайшим уважением, то не думаю, что было бы неверно утверждать, что я испытывал к ней столь же великое чувство восхищения. И в то время, признаюсь, я не мог удержаться от мысли, что однажды мне хотелось бы, чтобы моя смерть могла быть похожа на смерть моего лучшего друга.

Приближаясь к павильону, откуда открывался вид на всю поверхность темного озера, я позволил себе утонуть в отголосках прошлого и чувстве тоски, почти забыв о том, что я в компании Эндрины и моего брата, которые развлекали друг друга своими солилоквиями. Я подошел к павильону и задержался там на несколько мгновений, пока не услышал голос Бруно, который с иронией призывал меня присоединиться к ним.

- Адриан, куда ты убегаешь? Неужели так сложно обратить внимание на наши разговоры?